



Иветова.

Б Е З Г Л Я Н Ц А

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

Павел Евгеньевич Фокин
Цветаева без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10775574
Цветаева без глянца ; [сост., вступ. ст. П.Фокина]: Амфора; Санкт-Петербург; 2008
ISBN 978-5-367-00810-4

Аннотация

Книга продолжает серию «Без глянца» – повествования о русских писателях, основанные на документальном материале. В ней приводятся воспоминания о Марине Цветаевой и ее собственные письма и размышления.

Смотревшая на мир с восторгом и болью, бросившая перчатку веку и людям, пронзенная жизнью, Марина Цветаева предстает перед нами в полноте своего быта и бытия – до жеста, взгляда, вздоха. Сквозь пелену тревог и потрясений восстанавливается и сам образ времени великих измен.

Содержание

«МНЕ дело – изМЕНа»	5
Личность	11
Облик	11
Характер	17
Ремесло	23
Мировосприятие	31
Вера	35
Свойства ума и мышления	38
Собеседница	40
Особенности поведения. Привычки	43
Ода пешему ходу. Ее прогулки	48
В мире растений и животных	51
Жилище	56
1890–1900-е. Родительский дом в Москве, Трехпрудный пер., 8	56
1890–1900-е. Дачный дом в Тарусе	58
1918–1921. Москва. Дом в Борисоглебском пер.	59
Медон. Пригород Парижа	61
1934–1938. 26, rue J. V. Potin. Ванв. Пригород Парижа	61
1939. В Голицыно. Под Москвой	61
1941. Москва. Покровский бульвар, 14	62
Жена	63
Мать	66
Поэт и быт	71
Гардероб	75
Родные и близкие	78
Предки	78
Отец	79
Мать	82
Лёра	87
Сводный брат	90
Ася	92
Муж	93
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Цветаева без глянца

Сост. Павел Фокин

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2008

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2008

* * *

Нежной памяти Лии Георгиевны Максидоновой

«МНЕ дело – изМЕНа»

Личность Марины Цветаевой настолько широка, богата и противоречива, что охватить ее в немногих словах совершенно невозможно!

Константин Родзевич

Знала же она, считавшая восемнадцатый век своим, родным, смертную формулу «слово и дело» – обвинение в государственной измене, оговор, равный приговору!

Знала и то, что в веке двадцатом, в котором была обречена жить, слово «измена» вновь обретет кровавый смысл.

И о роковых исходах любовных *измен* – во все времена – знала. Измена – у людей, для людей – гнев, презрение, ненависть. Застенок и плаха. Позор и проклятие на все времена.

И с вызовом писала: «мне дело – измена». С вызовом подписывала: «мне имя – Марина».

Мол, не трудитесь выслеживать, доносить, шпионить, МНЕ – нечего скрывать, МНЕ не от кого скрываться. Всё о себе САМА написала. Всё о себе САМА рассказала. Ни слова, ни дела не утаила.

Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.

Была особой породы: не «из камня» и не «из глины» сотворена. И даже – не «из плоти». Как «бренная пена морская». Из воздуха и воды – не воздух и не вода. Из волны и скалы – не волна и не скала. На границе стихий – в столкновении стихий. *Столкновение стихий*. Вот только что взлетевшая на гребень волны, игровая и бурлящая, – и уже оседающая кружевом на песке, покорно и бездвижно. Гибнущая в момент рождения и воскресающая в новом ударе прибоя – «серебрясь и сверкая». Сиюминутная и вечная, изменчивая и неизменная – Психея. Живая Душа.

И ее «измена» – из другого словаря. Вне истории. Вне политики. Вне страстей.

Ее «изМЕНа» – романтизированный, поэтически очищенный и ограненный вариант прозаического, бледного и вялого, почти механического «изменения». Уверенной рукой мастера вызволила, вызвала из гусеницы повседневного слова волшебную, переливающуюся оттенками смысла бабочку поэзии.

Ее «измена» – непрерывный полет Души. Неустанное движение Духа. Неутомимое Творчество. Преодоление. Обновление. Чудо. Измена-Преображение. Измена-Жизнь. Неизбывное материнство. «Высокая» измена – в которой и тени *предательства* нет, где только – *самоотдача*. Измена-Подвиг. Измена-Дар.

Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет – мелкой,
Миска – плоской,
Через край – и *мимо* –
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

«Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес – только преображенная, т. е. – в искусстве. Если бы меня взяли за океан – в рай – и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь *сама по себе* не нужна». «Мне нет дела до себя. Меня – если уж по чести – просто нет». Отречение – резкое, непонравимое, до конца. И оправдания от других – не надо.

Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!

Живу – никто не нужен!
Взошел – ночей не сплю.
Согреть чужому ужин –
Жилье свое спалю.

Взглянул – так и знакомый.
Взошел – так и живи.
Просты наши законы:
Написаны в крови.

Считала: «Тело в любви не цель, а *средство*». Так же и в творчестве, ибо любовь – и есть творчество. И творчество – любовь. Она всегда понимала себя не как цель, а как *средство* – творчества, любви, души. И пользовалась им (собой) на полную: радовалась и страдала, томилась и ликовала, рыдала и пела, любила, негодовала – *жила*. И всех звала с собой – жить:

«Мое завещание детям:

– „Господа! Живите с большой буквы!“ (Моя мать перед смертью сказала: „Живите по правде, дети, – по правде живите!“ – Как туманно! – Правда! – Я никогда не употребляю этого слова. – Правда! – Как скудно – нищё – не завлекательно! – „Живите под музыку“ – или – „Живите, как перед Смертью“ – или – просто: – „Живите!“»

Гедонизм? Ничего нет более противного Марининому призыву – *жить!* Гедонизм – торжество плоти – бездушен. Гедонизм – апофеоз потребления – бесплоден. Гедонизм – имитация жизни – «гроб и надгробные плиты»!

Жить, для Марины, – быть надобной. Быть средством для другого. Который сам – встречное средство. Она – оклик, он – отзыв. Вместе – жизнь.

Луну заманим с неба
В ладонь – коли мила!
Ну а ушел – как не был,
И я – как не была.

Оклик без отзыва – стих. Но и в стихе – жизнь. Усиленная и умноженная лирическим напором.

Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: пить.

«Лирическое стихотворение: построенный и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге – столько взрывов, пожаров, обвалов: ПУСТЫРЕЙ. Лирическое стихотворение – катастрофа. Не началось и уже сбылось (кончилось). Жесточайшая самораства. Лирикой – утешаться! *Отравляться* лирикой – как водой (чистойшей), которой не напился, хлебом – не наелся, ртом – не нацеловался и т. д. ...

Из лирического стихотворения я выхожу разбитой».

Но:

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена – веселая пена –
Высокая пена морская!

* * *

Биография Марины Цветаевой сегодня известна в мельчайших деталях. Если и есть пробелы, то – несущественные. Во всяком случае главные эпизоды прописаны с небывалой тщательностью. До жеста, взгляда, вздоха. Родными, современниками, исследователями. Самой Цветаевой – обильно и ярко фиксировавшей события и думы в записных книжках, тетрадях, письмах, в стихах.

Зачем?

По детальности отображения в письменных документах биография Цветаевой может сравниться (несомненно, уступая) лишь с последними годами жизни Льва Толстого. Даже в усеченном – утраченном – виде цветаевский архив огромен. И все равно каждая новая публикация вызывает неприменный интерес. От судьбы Марины не оторваться, как не оторваться от ее стихов, которых – много! – очень много!! – чересчур много!!! – и все равно не достаточно.

Почему?

Биография Цветаевой разрублена топором Русской Революции на две равные половины. Они зеркально отражаются друг в друге. До излома жизнь шла естественным чередом, со своими радостями и заботами, удачами и потерями – «в руце Божией». После – всё перевернулось, начался сплошной «дьяволов водевил». Революция лишила всего: России, культурной среды, привычного уклада жизни, дома, мужа, дочери. Оставила только Слово. И – Дело: писать, свидетельствовать, жить. «Потому что вовсе не: жить и писать, а жить-писать и: писать – жить».

«Слово и дело» Цветаевой стало формулой верности – своей Душе, своему Дару, разорванной в клочья родине. Именно в Революцию услышала она голос народа, вырвавшийся из многовекового подполья – песней, плачем, пьяным смехом, молитвой, причитанием, матерком – вихрем, смерчем, завываньем. Из поглотившего реальность речевого хаоса вылавливала ухом поэта живые слова, возвращала им смысл, спасала их душу. В те дни никто больше *так* с русским словом не работал. Цветаева одна приняла на себя первый удар языковой стихии – и выстояла. Блок, бесстрашно в нее вошедший во след двенадцати разбойникам-апостолам революции, был истреблен собственной поэмой. Маяковского унес за собой поток агитпропа и новояза. Ахматова – удалилась в скорбное молчание. К Волошину в Коктебель доносились лишь отголоски бури. Гумилев лежал в могиле.

Марину штормило:

«Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо всё возвращает тебя в стихию стихий: слово.

Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно».

Зимой 1919-го Бальмонт, в те дни душевно сблизившийся с Цветаевой, рассказал ей, как встретил на улице безумную женщину, все время спрашивавшую: «Дяденька, а дяденька, где мой дом?» И сам на грани безумия, в панике бежал.

Реакция Марины была мгновенной, она сразу всё узнала и преобразила: «Бальмонт! Как замечательно! И как всё ясно. – Новая Россия – милиционер у столба смотрит в огонь – Москва, которая не знает, где ее дом – и Вы, Поэт...

И Москва спрашивает дорогу у Поэта...»

Несколько лет спустя, Бальмонт, уже в эмиграции, вспомнит этот эпизод в эссе «Где мой дом?» и – художественно довершит его:

«Увидев меня, Марина всплеснула руками и воскликнула: „Братик, что с вами?“

Я рассказал ей подробно о встрече. Лицо Марины сделалось торжественным, а глаза ее стали смотреть как будто внутрь самих себя.

– Братик, – сказала она, беря меня за руку. – Она должна была к вам прийти. Ведь это же к вам приходила – Россия».

Старый Поэт немного польстил себе, но и его поразила мистическая минута, когда в одном облике предстала перед ним потерявшая свой дом женщина, Россия и Марина. И лицо ее он увидел «торжественным», а глаза Цветаевой «стали смотреть как будто *внутри самих себя*». В те дни не Москва (не только Москва), а именно вся Россия потеряла свой дом – и пути *к себе* спрашивала – у *Поэта*.

Бальмонт – испугался и сбежал (укрылся в *Кафэ* Поэтов). Марина – ответила всей мощью своего дара – всей силой любви.

Восьмилетняя дочь Аля сообщала матери Волошина: «Марина живет как птица: мало времени петь и много поет».

Каждый стих – дитя любви,
Нищий незаконнорожденный.
Первенец – у колени
На поклон ветрам положенный.

«Слово и дело» Цветаевой – вера себе, вера судьбе, вера России. Вера дому.

Но: «Где мой дом?»

Из того же Алиного письма: «Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: „Кочевники дома“. Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. Наверное, наш дом будут рушить...»

«*России* (звука) нет, есть буквы: СССР», – писала Цветаева в 1928-м. В 1920-м сочувственно занесла в тетрадь где-то услышанную остроту «Р.С.Ф.С.Р. – „Расфуфырка“».

«Не могу же я ехать в *глухое*, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно», – признавалась в 1928-м. В 1920-м – тоже было не до шуток. «Расфуфырка» выдавливала гласные из России, душила своих поэтов, гнала их из дому.

11 мая 1921 года «кочевники дома» стали настоящими кочевниками: Цветаева покинула родину. За восемнадцать лет скитаний она сменила почти три десятка адресов. Германия, Чехия, Франция... Берлин, Прага, Париж... Мокропсы, Вшеноры, Иловище... Ванв, Медон, Кламар... И еще, и еще, и еще...

«Где мой дом?»

«Меня в Россию не пустят: *буквы не раздвинутся*... В России я поэт без книг, здесь – поэт без читателей. То, что я делаю, никому не нужно».

Но буквы раздвинулись (точнее – их раздвинули – Эфрон, Аля, Мур), чтобы сомкнуться в смертельные тиски, стянуться гибельной петлей.

Еще два года непрерывных переездов. Москва, Болшево, Москва, Голицыно, Москва...

«Где мой дом?»

Елабуга.

Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!
С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорежь зари – и ответной улыбки прорежь...
Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

* * *

Феномен Марины Цветаевой, поэта и человека, – в экзистенциальной *непримиримости и нераздельности* личностной исключительности и исторической типичности, затейливого узора и строгой схемы, волны и камня, в сшибке которых означаетсся неуловимая истина Бытия.

Цветаева лично видела царя и Льва Толстого, Керенского и Блока, общалась с Брюсовым и Бальмонтом, Волошиным и Андреем Белым, Розановым, Вячеславом Ивановым, С. М. Волконским, Львом Шестовым, о. Сергием Булгаковым, с Ахматовой, Мандельштамом, Пастернаком, Маяковским, Есениным, переписывалась с Рильке, дружила с Натальей Гончаровой – какие *избранные* встречи! Она жила в Москве, Тарусе, Крыму, Нерви, Лозанне, Фрайбурге, Берлине, Праге, Париже, бывала в Петербурге, Генуе, Вене, Мюнхене, Дрездене, Лондоне, Брюсселе – какие *избранные* места! Для нее текли Ока, Волга, Эльба, Сена, Рейн, Темза, плескали волнами Черное и Средиземное моря, Женевское озеро и Атлантический океан, высились Кара-Даг, Альпы, Шварцвальд, Татры, цвели Коктебель и Лазурный Берег – какие *избранные* виды! Всё – для полноты *биографии*.

Ее жизнь явлена нам как некий образец, в котором собралось все самое главное, неизбежное, сущностное той эпохи; в ней, как в кристалле, сошлись лучи всех тревог и ожиданий того грозного, грозного времени – времени *великих измен*.

Рубеж столетий, Серебряный век, Русско-японская война, Первая мировая, отречение царя, революция, гражданская междуусобица, эмиграция, рождение новой империи Советов, возвращение на родину, Великий Террор, Вторая мировая, эвакуация – сколько событий и потрясений! А рядом, одновременно и параллельно – пропитанное возвышенными идеалами детство, гениальная мать, ее ранняя кончина от чахотки, отец-профессор, поглощенный своим титаническим трудом по созданию небывалого до того Музея, безоглядная любовь и раннее, в 17 лет (!), замужество, муж-дитя, первенец – почти мифологическая Ариадна – дочь-вундеркинд, разлука с мужем, вторая дочь с отстающим развитием и ее голодная смерть в приюте, одночасовые «романы»-очарования и разочарования, воссоединение семьи и медленное угасание супружеской любви, рождение сына – победоносца Георгия, безумная материнская любовь к нему, конфликт с повзрослевшей дочерью и почти разрыв с ней, вновь

расставание, разлука и – последняя встреча семьи – перед арестами, расстрелами, гибелью... Сколько усилий и трат! Скитания, лишения, болезни, труд. Всё – для полноты *жизни*.

Судьба Цветаевой – исторический факт колоссальной эстетической цельности и ценности – *сюжет Русского романа XX века*. Она совершенна, как совершенна судьба Пушкина. И, как судьба Пушкина, она представляет собой *верное средство* постижения судьбы России.

Павел Фокин

Личность

Облик

Татьяна Николаевна Кванина (1908–1996), преподаватель русского языка и литературы, жена Н. Я. Москвина:

Я еще не знала, кто передо мною, но ощущение, что вижу человека, к которому слово «незаурядный» применить мало, родилось тут же: это был человек особой, высочайшей породы. За всю мою жизнь и прежде и потом такого ощущения я не испытывала ни от одной встречи [1; 469].

Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993), младшая сестра М. И. Цветаевой, писательница, мемуаристка:

(В 1904 г. – Сост.). Голубоглазая, с русой косой, горбоносая, с резкими движениями, смехом и выразительной мимикой, она напоминала клоуна [15; 140].

Валерия Ивановна Цветаева (1883–1966), сводная сестра М. И. Цветаевой, дочь И. В. Цветаева от первого брака:

Внешне тяжеловесная, неловкая в детстве, с светлой косичкой, круглым, розовым лицом, с близорукими светлыми глазами, на которых носила долгое время очки, Марина характером была неподатливая, грубовата.

Забегая вперед, скажу, что с возрастом внешность Марины менялась к лучшему, она выросла, выровнялась. 16-ти лет, будучи еще в гимназии, Марина выкрасила волосы в золотой цвет, что очень ей шло, очки носить бросила (несмотря на сильную слепоту) [1; 14].

Валентина Константиновна Перегудова (урожд. Генерозова; 1892–1967), гимназическая подруга М. И. Цветаевой:

Мое знакомство с ней началось в гимназии Ф. Д., где я училась пансионеркой. Когда я была в шестом классе, к нам перешла из другой гимназии Марина, и тоже пансионеркой. <...> Я не могла не замечать сидящую на одной из парт девочку, всегда склонившуюся над книгой или что-то пишущую. Очки, которые она никогда не снимала (она была очень близорука), довольно угрюмое лицо, постоянная углубленность в себя, медленная походка, сутулящаяся фигура делали ее более взрослой, чем она была на самом деле [1; 22].

Татьяна Николаевна Астапова, одноклассница М. И. Цветаевой в гимназии М. Г. Брюхоненко:

Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, «жемчужный» цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Короткие русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным для нее были движения, походка – легкая, неслышная. <...>

Однажды Цветаева, появившись утром в классе, вызвала всеобщее удивление: волосы у нее за один день стали необычного соломенного цвета, и к ним была прикреплена голубая бархатная лента. По-видимому, в ее воображении все это должно было выглядеть иначе. Быть может, тут сыграло какую-то роль название сборника стихов Андрея Белого «Золото в лазури». Ее волосы привлекли внимание, ей задавали вопросы. Вероятно, Цветаевой это надоело, а возможно, эта причуда разонравилась и самой, но только вскоре она остриглась наголо и некоторое время носила черный чепец [1; 43, 47].

Анастасия Ивановна Цветаева:

(В 1910 г. – Сост.). Марина в темном платье и в черной шелковой шапочке вроде берета, с черной же оборкой на спрятанных, чуть отрастающих волосах.

Уже давно Маринины нечаянно покрашенные волосы стали менять оттенки от желтого и морковного к зеленоватому, и, наконец, Марина обрила голову. По чьему-то совету полагалось ее брить десять раз – тогда могли они завиться. И Марина надела черный шелковый чепец с маленькой оборкой, очень ей не шедший [15; 356].

Анастасия Ивановна Цветаева:

(В 1911 г. – Сост.). Я никогда за всю жизнь не видела такой метаморфозы в наружности человека, какая происходила и произошла в Марине: она становилась красавицей. Все в ней менялось, как только бывает во сне. Кудри вскоре легли кольцами. Глаза стали широкими, вокруг них легла темная тень. Марина, должно быть, еще росла? И худела. Ни в одной иллюстрации к книге сказок я не встретила такого сочетания юношеской и девической красоты. Ее кудри вились еще круче и гуще моих. Я никогда не была красавицей, а Марина была ею лет с девятнадцати до двадцати шести, лет пять-шесть. До разлуки, разрухи, голода [15; 386–387].

Мария Ивановна Кузнецова (*литературный псевдоним Гринева; 1895–1966*), актриса Камерного театра:

(В 1912 г. – Сост.). Я не спускаю глаз с Марины Цветаевой. Под золотой шапкой волос я вижу овал ее лица, сверху широкий, книзу сужавшийся, вижу тонкий нос с чуть заметной горбинкой и зеленоватые глаза ее, глаза волшебницы [1; 57].

Елизавета Яковлевна Тараховская (1895–1968), поэтесса, переводчица, сестра С. Я. Парнок:

Она была стройна, как юноша, круглолица, светловолоса [2; 66].

Николай Артемьевич Еленев (1894–1957), прозаик, историк искусств, знакомый М. И. Цветаевой по Чехии:

Когда я впервые взглянул на лицо Марины, мне вспомнился мир Ренессанса и песенка, которая, по преданию, принадлежит герцогу Лоренцо Великолепному:

Quant'è bella giovinezza,
Ma si fugge tutta via...¹

Но мне пришлось сосредоточиться, напрячь память, чтобы найти тип лица Цветаевой. Это удалось мне не сразу. Когда же она повернулась, спокойно слушая собеседника, беспокойство умственного усилия мгновенно исчезло: передо мною возник образ пажа на ватиканской фреске «La Messa di Bolsena»², с его выразительным профилем. Вместе с тем лицо Цветаевой было моложе, беспечней и одухотвореннее. С ее темно-русыми подстриженными волосами, четким тонким носом, узкими губами, но довольно широким русским овалом. Марина была лишена земной косности. <...>

¹ О, как молодость прекрасна, Хотя спешит на убыль каждый час... (итал.)

² «Месса в Бользене» (итал.).

Форма носа, соразмерная, с легкой горбинкой, превосходно сочеталась с ее высоким, крутым и большим лбом. Но серые глаза были холодны, прозрачны. Эти глаза никогда не знали страха, всего менее мольбы или покорности [1; 260–261].

Елизавета Павловна Кривошапкина (урожд. Редлих; 1897–1988), художник-график:

Внешность Марины была до странности неровной. Иногда она казалась красивой. Хороши были золотистые волосы, прозрачные глаза и горячий, яркий румянец. Но глаза за поблескивающими стеклами пенсне часто смотрели насмешливо и неуловимо. А лицо вдруг тяжело и становилось бледным и равнодушным [1; 75].

Петр Никанорович Зайцев (1889–1970), писатель:

Она была и по внешности – преинтересная! Ее небольшая, стройная фигурка производила впечатление своей строгой очерченностью, воздушной оконтуренностью форм и своей простотой и естественной грацией. Невысокая, стройная, строгая, с тихими глазами, в которых таилась насмешливость, вот-вот готовая вспыхнуть острой эпиграммой [1; 137].

Ариадна Сергеевна Эфрон (Аля) (1912–1975), дочь М. И. Цветаевой:

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом – 163 см, с фигурой египетского мальчика – широкоплеча, узкобедрата, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны – без резкости – движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали сесть – и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом – смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнувши были глаза – зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем [1; 143].

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова (1886–1964), литератор, дочь писателя Е. Я. Колбасина:

(В 1923 г. – Сост.). Вошла молодая женщина – коричневые волосы челкой, матовая светло-коричневая кожа лица, светлые глаза. Стройная, даже как будто неестественно прямая – «стальная выправка хребта», как сказала она в своем стихотворении о князе Сергее Волконском – слова эти подходили именно к ней. Эта прямота, негибкость поражала, она придавала некоторую угловатость ее стремительным движениям и некоторую неженственность. Мягкости не было [1; 292].

Вадим Леонидович Андреев (1902–1976), поэт, прозаик, сын писателя Л. Н. Андреева (от первого брака). С 1917 г. в эмиграции. Автор нескольких сборников, публиковался в журналах «Воля России», «Русские записки», «Числа» и др. Во время войны участвовал в движении Сопротивления. В 1946 г. принял советское гражданство:

Когда мы встретились в первый раз в Париже, в 1925 г., я не мог отделаться от двойственного чувства – той Цветаевой, которой я ожидал, – не оказалось: я думал, что она золотоволосая, воздушная, прозрачная – Психея, – и вместо этого встретился с женщиной еще очень молодой – ей тогда было 32–33 года, но поразившей меня своей неженственностью: большие, выразительные, мужские руки, движения резкие и порывистые, голос жесткий и отчетливый. Все было в ней резко и неуютно. Особенно взгляд очень близорукого человека – невидящий. <...> Запомнил челку русских волос, – уже седеющую! – почти всегда обожженную: когда М. И. задумывалась – обычный жест опереться на левую руку, в которой крепко зажата неизменная папироса, большие перстни и серебряные браслеты на смуглых руках [3; 171–172].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Руки ее были не женственные, а мальчишечьи, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатьи, с хорошо развитыми пальцами, чуть квадратными к концам, с широковатыми, но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними – так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими – раз и навсегда – были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета и обнимали собой всё запястье. Три кольца – обручальное, «уцелевшее на скрижалях», гемма в серебряной оправе – вырезанная на агате голова Гермеса в крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка, с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом и, вокруг кораблика, надписью – тебе моя синпатія – очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. <...> Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней [18; 396].

Франтишек Кубка (1894–1969), чешский писатель, критик, переводчик:

У Марины Цветаевой были красивые руки с тонкими пальцами. Средний палец на правой руке с несмываемым фиолетовым чернильным пятном. Под пятном – затвердение. Марина была упорной труженицей пера [1; 353].

Николай Артемьевич Еленев:

Ее пальцы со следами никотина были довольно коротки, пластически образующей была не длина кисти, но ее ширина. Было ясно, что Марина не ухаживала за своими руками и ногтями. <...> Для меня была и осталась загадочной анатомическая природа Марины: голова ее была одухотворена, как голова мыслителя, выражая сочетание разных веков культур и народностей. Руки же... Такие руки с ненавистью сжигали не только помещичьи усадьбы, но и старый мир [1; 256–266].

Ариадна Викторовна Чернова-Сосинская (1908–1974), автор критических статей, переводчица. Дочь О. Е. Колбасиной-Черновой:

Фотографии не только плохо передают облик Марины Ивановны, но даже очень меняют его. Виден лишь линейный рисунок ее черт, тонкий с горбинкой нос на широкой светлой плоскости лица, сжатый рот, темные глаза, но совершенно теряется особая лепка ее

лица, создававшаяся необычной его окраской. Оно было смуглым, зеленоватые глаза казались светлыми в окружавшем их золотисто-коричневом кольце, губы были темными, почти коричневыми от долгого куренья. Пушистые, стриженные волосы с челкой над самыми глазами, золотые в молодости, с годами темнели и мешались с сединой – Марина Ивановна начала сесть очень рано.

Во всей ее фигуре, тонкой, но не гибкой, – Марина Ивановна держалась необычайно прямо, и талия ее почти всегда была стянута кожаным поясом – выражалась предельная напряженность всех мускулов, всех жил, всей воли [1; 299].

Вера Леонидовна Андреева (в замужестве Рыжкова; 1911–1986), дочь писателя Л. Н. Андреева, мемуаристка. В 1960 г. вернулась в СССР:

(В 1927 г. – Сост.). Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя – Марина, что значит «морская». Она лежала на песке, опершись на локоть, и, прищурившись, смотрела на море – глаза у нее были того же цвета, что океанские волны, – серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом бело-синего, выцветшего на солнце купального костюма. Стройные, худощавые, темно загорелые ее ноги спокойно и легко лежали на бледном песке. Совсем цыганская – худая и нервная – рука вдумчиво и нежно пересыпала сквозь длинные пальцы песок [1; 364].

Вадим Леонидович Андреев:

(В 1938 г. – Сост.). В последний раз я видел Цветаеву незадолго до ее отъезда в Россию. Мне пришлось перед тем с нею не встречаться в течение 2 лет, и когда я пришел к М. И., меня поразило то, как Цветаева постарела, в недолгий, сравнительно, срок. Ее волосы почти совсем поседели, появились морщины на худом лице, обострилась горбинка на носу, но все ее движения стали менее резкими и острыми. В первый раз я увидел в М. И. усталость, и не физическую только, но глубокую, душевную, от которой уже человек не может отдохнуть [3; 176].

Евгений Борисович Тагер (1906–1984), советский литературовед:

(В 1939 г. – Сост.). Не изящная хрупкость, а – строгость, очерченность, сила. И удивительная прямизна стана, слегка наклоненного вперед, точно таящего в себе всю стремительность ее натуры.

Должен сказать, что ни на одной фотографии тех лет я не узнаю Цветаеву. Это не она. В них нет главного – того очарования отточенности, которая характеризовала всю ее, начиная с речи, поразительно чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко обрисованными, точно «вырезанными», чертами ее лица [1; 462].

Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978), поэтесса:

(В 1940 г. – Сост.). Марина Цветаева была тогда худощава, измучена, с лицом бесцветно-серым. Седоватый завиток надо лбом, бледно-голубые глазки, выражение беспокойное и недоброе. Казалось, сейчас кикимора пойдет бочком прыгать, выкинет штучку, оцарапает, кувыркнется [1; 490].

Мария Иосифовна Белкина (1912–2008), писательница, мемуаристка, автор биографического исследования «Скращение судеб» (о Цветаевой и ее семье):

– Мать чаще всего запоминалась в профиль, – говорила Аля.

Но запоминался и анфас, только анфас был расплывчатым, и лица было как бы больше, чем надо. Профиль – чеканный, острый, подобранный. И если профиль мог говорить о каких-то польских или немецких ее предках, то анфас был всецело от русской ее бабки-попадьи. Разве только глаза, очень северные, может, еще к самим викингам восходящие... Но, оговорюсь, это сугубо мое личное восприятие. Я встретила Марину Ивановну в 1940 году. <...>

Волосы коротко стрижены, не седые еще полностью, но утратившие уже свою первоначальную окраску, «светлошерстая», как она сама о себе говорила, а дочери писала: «С вербочкою светлошерстой светлошерстая сама...»

Челки не было, очень редко опускала прядь на лоб, а так – подбирала на правую сторону маленькой заколкой-гребешком. Раньше волосы носила прямые, а тут перманент, что ли, был сделан неудачно, или сами потончали с возрастом, стали завиваться, что очень ее простило, делало еще больше *как все*, ибо все тогда ходили стриженные с сожженными плохим перманентом, только входившим в моду, волосами, лицо было утомленное, неухоженное, в сухих мелких морщинках. Серо-землистое – «...тот цвет – нецвет – лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь – до последнего нецвета...» [4; 28, 31–32]

Галина Георгиевна Алперс (1901–1994), преподавательница иностранных языков:

(Июль 1941 г. – Сост.). Хорошо помню ее невысокую фигуру, очень скромно, но корректно одетую в «платье иностранного покроя», как писали в старину, в берете на темных с сильной проседью волосах, всю в коричневых тонах. На руке у нее висела большая коричневая сумка. И сама она казалась коричневой: очень смуглое темное лицо и сухие узловатые, смуглые, нервные руки. Руки говорили о тяжелом постоянном физическом труде. Она носила очки с толстыми сильными стеклами [4; 207].

Зинаида Петровна Кульманова, в 1930–1940-е гг. редактор в Гослитиздате:

(В 1940#е гг. – Сост.). Она выглядела старше своих лет, поседевшая, вечно в полинявшем платье (или юбке с кофтой, тоже вылинявшими), в берете (синем или коричневом). На лице – нездоровая желтизна. Весь внешний вид Марины Ивановны характеризовался каким-то страданием, внутренней болью. Было впечатление, что ее внутри что-то жжет. Ее облик излучал боль, боль за близких ей людей [1; 495].

Характер

Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978), поэт, драматург, актер и режиссер студии, а затем театра Е. Вахтангова, мемуарист:

Все ее существо горит поэтическим огнем, и он дает знать о себе в первый же час знакомства [1; 86].

Константин Болеславович Родзевич (1895–1988), участник гражданской войны; окончил в Праге юридический факультет Карлова университета. С 1926 г. жил во Франции. Герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца». В записи В. Лосской:

В Марине была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни, и в то же время ее неустройство и невозможность найти полноту в этой жизни иногда звучали пессимистическим отказом от жизни. Но радость жизни не была отвлеченной... [5; 88]

Елизавета Павловна Кривошапкина:

Мне кажется, Марина увлеченно интересовалась всем, а то, что любила, любила горячо. Все было интересно, все было материалом для ее искусства. Себя и свою жизнь она любила наравне с людьми, природой, потому что она и ее жизнь были самым захватывающим материалом для стихов. Она была художником [1; 76].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Цельность ее характера, целостность ее человеческой личности была замешена на противоречиях; ей была присуща двоякость (но отнюдь не двойственность) восприятия и самовыражения; чувств (из жарчайшей глубины души) и – взгляда на (чувства же, людей, события), взгляда до такой степени со стороны, что – как бы с иной планеты.

Поразительная память была в ней равна способности к забвению; детская изменчивость равнялась высокой верности, замкнутость – доверчивости, распаханности; в радость каждой встречи сама закладывала зерно разлуки; и в золу каждой разлуки готова была раздуть уголек для нового костра. Такое бескорыстие в любви – и такая ревность к пеплу сгоревшего... Такое «диссонирующее» равновесие бездн и вершин, такое взаимоприятие миров и антимиров в ее внутренней вселенной...

И еще: способность постигать сегодняшний день главным образом через и сквозь прошедший (день, век, тысячелетие), всем болевым опытом бывшего поверяя гадательное грядущее... [1; 239]

Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980), мемуаристка, жена О. Э. Мандельштама:

Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногшибательного своенравия. <...> Она была с норовом, но это не только свойство характера, а еще жизненная установка [1; 140–141].

Мария Иосифовна Белкина:

Аля говорила, что мать сама себя сделала смолоду, что со свойственной ее натуре решимостью и энергией она начала созидать себя заново, наперекор природе. Она мало ела, изнуряла себя ходьбой. Стремилась придать некую аскетичность своему облику. Стриглась особо, закрывая щеки волосами. Курила запоем, папираса стала неотъемлемым штрихом ее портрета. Очки выбросила. Последний снимок в пенсне относится, должно быть, к две-

надцатому году, точная дата на фотографии не указана. Заставляла себя не сутулиться, держаться прямо и не пытаться разглядеть то, что при своей близорукости увидеть не могла [4; 29].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Была действительно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти – хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала [1; 144].

Марина Ивановна Цветаева:

Даю я, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма – ради улыбки – своей и чужой [12; 42].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь [1; 144].

Марина Ивановна Цветаева:

Я могу брать только у того кто дает безлично, как решето пропускает воду. Всякий дар лично мне – низвергает (т. е. повергает) меня в прах. (Благодарность.) [11; 330]

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Беспомощна не была никогда, но всегда – беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких – друзей, детей – требовала как с самой себя: непомерно [1; 144].

Эмилий Львович Миндлин (1900–1981), писатель, мемуарист:

Все свое готова другим отдать. Отнять от себя для нее значило приобрести, обрести, умножить свое богатство. С одним, с последним своим не расстанется до последнего вздоха – с правом на одиночество, единственным своим правом – оставаться наедине с собой, судить не других – себя. К другим была терпимее, чем к себе. Спрос с себя куда строже, чем спрос с другого. Уж на что редкостно свойство ее души – понимать человеческие слабости других! Даже о людях, ей досаждавших, враждебных ей, ни о ком не говорила со злобой. Несла себя по кочковатой дороге жизни, не расплескивая, не растрачивая себя на злобу, на осуждение неправых [1; 116].

Марк Львович Слоним (1894–1976), писатель, литературный критик, редактор журнала «Воля России»:

Она, в сущности, была однолюбом и, несмотря на увлечения и измены, по-настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, ее мужа. <...> А с другими людьми все неизменно рушилось: слишком она была требовательна, слишком «швырялась» друзьями, если они ей чем-либо не угождали, и то возводила монументы, то разбивала их в прах. А некоторых своих знакомых, готовых для нее на все, как-то не замечала – и, быть может, того сама не зная, унижала и отпугивала – холодом и презрительным равнодушием. Но и тех, кто все от нее сносил, она не признавала подлинными друзьями [1; 325].

Наталья Викторовна Резникова (урожд. Чернова; 1903–1992), дочь О. Е. Колбасиной-Черновой от первого брака с художником М. С. Федоровым:

Известно, как она «швырялась людьми» – ее переписка полна задевающими друзей замечаниями. За самоотверженную помощь платила иронической критикой, насмешкой.

Но делала она это как бы шалая. И сама называла такие слова поступки «из гнусности», как будто бы действовала не она, а кто-то другой, а она глядела со стороны.

Этими словами она разрешала себе то, чего она иначе не сделала бы. Но словами «Я это сделала из гнусности» все превращала в шалость. Но все это было несерьезно, и я это подчеркиваю <...>, – зла в ее природе не было. Может быть, только игра в зло [1; 382–383].

Майя (Мария) Павловна Кудашева-Роллан (1895–1985), поэтесса, переводчица, жена Р. Роллана. В записи В. Лосской:

Она мне рассказывала, что в детстве, в Германии, в одном очень приличном доме она делала пи-пи в пальму, чтобы пальма умерла. Так она выражала свой протест против хозяйки этого дома и ее благоустроенного мещанского быта [5; 38].

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова (1886–1964), писательница, журналистка, жена одного из основателей партии эсеров, министра земледелия Временного правительства, председателя Учредительного собрания В. М. Чернова. В доме Черновых М. И. Цветаева жила первые месяцы своего пребывания в Париже:

Марина не выносила атмосферы благополучия, ее стихией была трагедия – героизма, жертвенности, бедности и гордыни, непревзойденной Мариной гордыни: Я есмь – и я иду наперекор [1; 298].

Григорий Исаакович Альтшуллер (1895–1983), доктор медицины, мемуарист:

Мне запомнился эпизод, который показывает ее резко независимый характер. Однажды жарким летним вечером мы ужинали с группой молодых друзей. Сидевшие за столом дамы сняли туфли, Марина тоже. Под стол забралась маленькая девочка и стала менять местами обувь. Приблизившись к Марине, она поползла дальше, не тронув ее туфель. Когда мы встали из-за стола, то были и смущение, и улыбки, и сердитые замечания. Только Цветаева оставалась сидеть спокойной и невозмутимой. Все посмотрели на нее, и кто-то спросил: «Марина, почему она не переставила ваши туфли?» – «Все очень просто, – ответила Цветаева, показав булавку. – Когда она подползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова и только посмотрела на меня, а я – на нее, и она поняла, что я могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель». В этом была Марина! [3; 60–61]

Вадим Леонидович Андреев:

Самой большой ее страстью, смертный грех, который владел ею вполне, – была гордость, несокрушимая гордыня. Любимое слово – самоутверждение. И всегда, все – в превосходной степени [3; 173].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

При всей своей скромности знала себе цену [1; 146].

Екатерина Николаевна Рейтлингер-Кист (1901–1989), приятельница М. И. Цветаевой, постоянно, с первых дней ее пребывания в Чехии, сопровождала Цветаеву в Праге; в то время студентка строительного-архитектурного отделения Пражского политехнического института:

Редкое сочетание несмелости (почти робости) с необычайной гордостью. Я не могла себе представить, чтобы она возмутилась или рассердилась «по-человечески». Чем больше накал несогласия, тем более вкрадчивое выражение и... убийственный отпор тому, что ей «не по духу», а не по духу ей было почти все в то время [1; 287].

Франтишек Кубка:

Ее манеры отличались женственной гордостью. Но надменности в ней не было, хоть она и знала, кто она такая: большой поэт [1; 353].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма В. Н. Буниной. Клармар, 20 ноября 1933 г.:

Честолюбия? Не «мало», а никакого. Пустое место, нет, – все места заполнены иным. Всё льстит моему сердцу, ничто – моему самолюбию. Да, по-моему, честолюбия и нет: есть властолюбие (Наполеон), а, еще выше, *le divin orgueil*³ (мое слово – и мое чувство), т. е. окончательное уединение, упокоение.

И вот, замечаю, что ненавижу всё, что -любие: самолюбие, честолюбие, властолюбие, сластолюбие, человеколюбие – всякое по-иному, но всё – равно. Люблю любовь, Вера, а не *любие*. (Даже боголюбия не выношу: сразу религиозно-философские собрания, где всё, что угодно, кроме Бога и любви.) [9; 261–262]

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова:

Ее противоречия в оценке искусства вытекают из ее отношения к злу, она явно к нему влечется, но Зла в ней нет. Она способна злиться – и еще как! – способна быть несправедливой, но зла как такового в ее природе нет. Не оно прельщает ее. Она часто говорит о своем детстве. Ей читали басни, которые она толковала по-своему. Она соглашалась с матерью, что ягненок кроткий, невинный страдалец. «Но и волк хороший», – прибавляет она к негодованию матери. Волк ей нравится потому, что он страшен и ест глупого ягненка.

Зла в ней не было, но ей было необходимо его присутствие. Марина любила, и как-то смаковала даже, – с азартом и вызовом рассказывать мне сказки, собранные Афанасьевым, – страшные, потусторонние, бездушной жестокости. Мать ненавидит свою дочь и вредит ей. Приходит с того света разрушить покой и жизнь дочери. Таковы упыри, обреченные на преступление. Зло обольщает, зло дает равновесие [1; 297].

Татьяна Николаевна Астапова:

Она могла, если захочет, как магнит притягивать к себе людей и, думается, легко могла и оттолкнуть [1; 50].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чудаками. Да и сама слыла чудачкой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтит старость [1; 145].

Наталия Викторовна Резникова:

Не надо забывать о ее романтическом культе героев. <...> При ее пренебрежении к смиренной прозаической человеческой жизни, быту, как она говорила, Марина Ивановна всегда готова была стать на сторону обездоленных – и в творчестве, и в жизни.

Марина Цветаева была благородной и всегда была на стороне побежденных, а не победителей [1; 383].

Марк Львович Слоним:

³ Божественная гордость (*фр.*).

Еще одна черта, ее знали все друзья МИ. Она себя называла «защитником потерянных дел» и настаивала, что поэт всегда должен быть с побежденными. Истинного вождя она отождествляла с Дон Кихотом («Конь – хром, Меч – ржав, Плащ – стар, Стан – прям»). Отсюда ее гимны белому движению после его разгрома и большая (очевидно, погибшая) поэма о гибели царской семьи – несмотря на то, что никаких подлинно монархических идей у нее не было, как и вообще не было политических верований [1; 321].

Елена Александровна Извольская (1897–1975), литератор, переводчица:

Она мало кого ненавидела, никому не завидовала, перед поэтическим или художественным талантом других – преклонялась. Любила также обыкновенных, простых людей [1; 402].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

К людям труда относилась – неизменно – с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство [1; 146].

Зинаида Алексеевна Шаховская (1906–2001), писательница, поэтесса, журналистка:

Марина Цветаева была вольнолюбица и по существу демократка. Помню, в Брюсселе, идя с ней в зал, где было ее выступление, мы столкнулись с двумя рабочими, несшими какие-то ящики, и сейчас же, сторонясь и отстраняя меня, уступая дорогу, Марина Цветаева громко, несколько нарочито-программно сказала: «Дорогу труду!» Но несмотря на народность свою, а может быть именно из-за нее, Марина Цветаева никогда не попыталась лягнуть демократическим копытом поверженных мира сего, на падших не наступала – уважая их несчастье и то, что в истории с ними связано, пример этому – ее статья «Открытие музея» [1; 427].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга [1; 146].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

О чем бы она ни писала, ко всему относилась серьезно, юмора не знала, собственно, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смеялась вместе с нею [1; 427].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. Париж, Ванв, 20 января 1936 г.:

Мне хорошо только со старыми людьми – и вещами. Из молодости люблю только молодую листву и траву.

Сейчас – *культ* молодости. В мое время молодость себя стеснялась. Сейчас: «мне 20 лет – кланяйся в ноги!»

А я не кланяюсь – п. ч. это – кумир. На глиняных ногах, п. ч. завтра 20#летнему будет сорок лет, как мне – *вчера* – было двадцать.

Хвастаться титулом – хвастаться состоянием – хвастаться молодостью. Но первое и второе хоть – если не твоя – то чужая заслуга! – Хоть *чей-то* – труд. Там – кичиться чужим титулом, здесь – обыкновенным ходом вещей, вне человека лежащим, то же самое, что гордиться – солнечным днем.

Помимо всего – мне с молодыми скучно – п. ч. им с собой скучно: оттого непрерывно и развлекаются... [8; 432]

Надежда Даниловна Городецкая (1903–1985), прозаик, профессор литературы, в 1930-е годы сотрудник парижской газеты «Возрождение». Из интервью с М. И. Цветаевой:

– Я действительно не выношу развлечений, – говорит М. И., пряча папиросы в сумочку. – Такая на меня бешеная скука нападает. Думаю: сколько бы дома можно сделать – и написать, и стирать, и штопать. Не то что я такая хорошая хозяйка, а просто у меня руки рабочие. Увлечься, вовлечься – да. «Развлечься» – нет [1; 407].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, болезнями (не в пример зубной боли!) не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность – расхлябанностью, безволием, эгоизмом [1; 219].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Того, что можно назвать «бабьим», в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства – и сплетничать не умела [1; 426].

Ариадна Сергеевна Эфрон. Из письма М. С. Булгаковой. 1968 г.:

Все в ней было в меру. Внешне и внутренне – подтянута, ненавидела расплывчатость, рыхлость, вялость, приблизительность. Всякое дело доводила до конца [5; 175].

Ремесло

Марина Ивановна Цветаева:

Не надо работать над стихами, надо, чтобы стих над тобой (в тебе!) работал [10; 57].

Николай Артемьевич Еленев:

Марина знала и ощущала всем своим существом, что слово «есть высший подарок Бога человеку». Ничто не ценилось Мариной больше, чем слово. Ни близкие, ни собственная участь, ни временные блага. Для нее оно было, по ее выражению, «стихией стихий». В религиозной философии слово, Логос, – божественная сила творчества и Провидение.

Постигнутое ремесло поэзии, сознательная воля, разум, знание безмерного русского словаря – слагаемые, которые, по мнению Марины, принадлежали ей как художнику только потому, что она творила в состоянии постоянного наваждения. <...> Но стихия слова и жизнь Марины были нерасторжимы. Вне проверки, вне усмотрения или возможного сознательного преодоления. Если Тютчев мог примирить в себе чиновника и поэта, то Цветаева могла жить только в мире слова и для слова. Ей принадлежит признание: «...утверждаю, что ни на какое дело своего не променяла бы». Более духовно-целостного художника в русском прошлом найти трудно, а может быть, и невозможно. <...>

Марина не знала «мертвых» слов, так как даже мертвые слова оживают, если вещий дух истинного творца вызывает их к действительности хоровода, иные скажут – оригинальной композиции, Марина сознавала, что она была «одержимая», и это была ее высшая гордость [1; 268–269].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слеpla ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала – только в тетрадях, любых – от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего – сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала основное, двигала вперед замысел, часто с быстротой паразитической; если же находилась в состоянии только сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища то самое слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а – подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится рукописью для себя одной.

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаивая: любые.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты – всем заботам и тяготам дня [1; 146–147].

Марина Ивановна Цветаева:

Могу есть – грязными руками, спать – с грязными руками, писать с грязными руками – не могу. (В Советской России, когда не было воды, вылизывалась.) [10; 122]

Марк Львович Слоним:

Стол был в ее жизни самым главным предметом. Недаром она посвятила ему одну из своих очень характерных поэм, воспевая «тридцатую годовщину союза – верней любви».

Сосновый, дубовый, в лаке
Дешевом, с кольцом в ноздрах,
Садовый, столовый – всякий,
Лишь бы не на трех ногах!

МИ говорила, что ее единственная собственность – дети и тетради. Но потом дети от нее ушли, остались только тетради. Своего собственного стола она никогда во Франции не имела, и в этом был символ ее неустроенности и бедности. Но ее похвала столу была не только символической, она раскрывала сущность ее творчества. В отличие от Мандельштама, который бродил по улицам, импровизируя на ходу, сразу облекая вдохновение в слова, и лишь потом их записывал или диктовал (отсюда большое количество его вариантов), Цветаеву нельзя себе вообразить без пера и бумаги, без рабочего стола. У нее вслед за наитием, за озарением следовал контроль – поиски, проверка, отбор – и все это в процессе письменного труда [1; 326–327].

Ариадна Сергеевна Эфрон. В записи В. Лосской:

Она всегда носила в сумке записную книжку типа agenda (календарная записная книжка) и считала, что необходимо все записывать. Так и других учила, меня в том числе. Записывала сны, разговоры, реплики, мысли по поводу работы или какого-нибудь спора. <...>

Совсем черные черновики она тоже сохраняла. Записи и отрывки она вписывала в маленькие книжечки (размером в половину школьной тетрадки), отредактированные и переписанные начисто. Кроме того, были еще беловые тетради [5; 221].

Марк Львович Слоним:

Достаточно бросить взгляд на цветаевские черновики, чтобы убедиться, как она умела выбирать, сокращать, резать и менять для достижения наибольшей точности и ударности. Она возмущалась, когда переделку и шлифовку рукописей называли «черной работой» – «да ведь это есть самая настоящая поэтическая работа – какая же она черная» [1; 332].

Вадим Леонидович Андреев:

Над стихами по-настоящему она работала по утрам, вставая очень рано, со светом, пока в доме все еще спали. Работала ежедневно, как над заданным уроком. Не признавала писания по ночам, считая, что ночной труд создает искусственное возбуждение [3; 173].

Елена Александровна Извольская:

Цветаева жила постоянно в поэтическом напряжении. Все равно, что бы она ни делала: убирала ли квартиру, готовила, заботилась о семье или гуляла, была ли одна или на людях, – все так же стремительно несся в ее сознании поток слов, звуков, созвучий. Это был поток бурный, непокорный, который, как она сама говорила, «швырял ее» обратно в келью [1; 401].

Марина Ивановна Цветаева. Из записной книжки 1919–1920 гг.:

Мне никогда не приходилось искать стихов. Стихи сами ищут меня, и притом в таком изобилии, что я прямо не знаю – что́ писать, что́ бросать.

Этим объясняется этот миллиард недо– и нена– писанных стихов.

Иногда даже пишу так: с правой стороны страницы одни стихи, с левой другие, еще где-нибудь сбоку – строчку еще стихов, рука перелетает с одного места на другое, летает по всей странице, отрываясь от одного стиха, кидаясь к другому – чтобы не забыть! Уловить! Удержать! – Не времени, – *рук не хватает!* [12, 14]

Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. Париж, Клармар, 24 ноября 1933 г.:

Я не могу ограничиться одним стихом – они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в который я попадаю, следовательно – и вопрос времени. Я не могу одновременно писать очередную прозу и стихи и не могла бы даже если была бы свободным человеком. Я – концентрик [8; 406].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

С основными своими темами Марина не расставалась всю свою творческую жизнь, и они, переходя из одной ипостаси в другую, как бы кустились, давая все новые ответвления от ее ствола и корней [1; 222–223].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма П. П. Сувчинскому. St. Gilles-sur-Vie, 4 сентября 1926 г.:

Лирическое стихотворение: построенный и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге – столько взрывов, пожаров, обвалов: ПУСТЫРЕЙ. Лирическое стихотворение – катастрофа. Не началось и уже сбылось (кончилось). Жесточайшая саморастрата. Лирикой – утешаться! Отравляться лирикой – как водой (чистейшей), которой не напился, хлебом – не наелся, ртом – не нацеловался и т. д.

В большую вещь вживаешься, вторая жизнь, длительная, постепенная, от дня ко дню крепчающая и весчающая. Одна – здесь – жизнь, другая – там (в тетради). И посмотрим еще какая сильней!

Из лирического стихотворения я выхожу разбитой.

Да! Еще! Лирика (отдельные стихи) вздох, мечта о том, как бы (жил), большая вещь – та жизнь, осуществленная, или – в начале осуществления [8; 323].

Елена Александровна Извольская:

Она не довольствовалась одним формальным «мастерством», «лабораторной работой», как пишет Ф. Степун, она слушала внутри себя, где уже не было ничего, кроме волн, вибрации, за пределами фонетики и стиха Марина научила меня вслушиваться в каждое слово, как в ЛОГОС. И каждое слово, особенно ее родное, наше русское, было оснащено огромным значением. Его нельзя было в ее присутствии произносить всуе. Как сейчас, вспоминаю, перечитывая ее стихи и прозу, голос Марины, повторяющий с упоением одно какое-нибудь словосочетание: выражение ее лица, преображенного гармонией, и как бы склоненное к земле ухо. Особенно звонкое, насыщенное ритмом выражение она отмечала взмахом руки, кивком головы и долго оставалась затем настороженной, как бы ожидая, что где-то далеко отзовется эхо – рифма [1; 401–402].

Надежда Даниловна Городецкая. Из интервью с М. И. Цветаевой:

– Вы стихи проверяете на слух?

– Как же иначе? Когда-то их пели. Когда нравится строка, непременно ее произносишь вслух. И если даже про себя читаешь стихи, так внутренне их все-таки выговариваешь, внутри рта. <...>

– Голубчик, мне ужасно хочется вам задать один нескромный вопрос... Как вы работаете? Ну, материал, труд и так далее. Но внутри самой работы?

М. И. опять – без улыбки – улыбается.

– На всякий нескромный вопрос можно ответить скромно... Лучше всего посмотрели бы черновики. Много вариантов – из них выбираю – на слух. Я не лингвист, мне некогда было изучать; полагаюсь на врожденное чувство языка. Но если мне на две тысячи строк (как в Федре) не хватает одного слова – считаю, что вещь не закончена, как бы меня ни уверяли, что больше тут ничего не нужно. Хочу, чтобы вещь стояла, и пишу до тех пор, пока до конца, по чести не скажу себе, что сделала все, что могла... Остальное – развлечение. А развлечения – ненавижу [1; 406–407].

Марк Львович Слоним:

Сколько раз <...> я наблюдал, как спокойствие и терпимость МИ исчезали, лишь только речь заходила о точности отдельных слов, о законности малоупотребляемых оборотов или ритмических ходов, и она становилась воительницей, готовой уничтожить противника. Для нее первый стих Евангелия от Иоанна был священным: «В начале бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово». Помню целую битву в 1929 году в Медоне, где МИ читала мне «Поэму Воздуха» – одно из ее самых лингвистически изощренных произведений, с многочисленными словообразованиями, по преимуществу отглагольными прилагательными. Там есть такие строки:

О, как воздух ливок,
Ливок! Ливче гончей
Сквозь овсы, а скользок!
Волоски – а веек!

Я прекрасно понимал, из какого корня МИ вела свои «ливок» (лить-ливень) или «веек» (веять), но не удержался и заметил, что для петербуржцев это слово прозвучит двусмысленно – ведь они могут принять его за родительный падеж от «вейка» – как называли извозчиков финнов и эстонцев, промышлявших в столице во время масленицы. А так как с упразднением «ять» исчезло различие между «вейка» (через «е») и «веять» (прежде – через «ять»), то я строку «волоски – а веек» принял холодно. МИ справедливо возразила, что нельзя менять из-за наличия второстепенных местных речений, и тут же воспользовалась случаем, чтобы произвести очередное нападение на новое правописание. Она его сперва люто ненавидела, потом презрительно не любила и только к 1925 году с неохотой с ним примирилась. Но, например, нового, как она выражалась, календаря она никак не могла принять.

Те, кто упрекал Цветаеву в поэтическом буйстве и словесном неистовстве, вероятно, не подозревали, как много она работала над своими стихами, как тщательно выбирала – и по многу раз переделывала – и целые строфы, и отдельные выражения. Она не раз повторяла, что любит «вгрызаться в слово, вылушивать его ядро, доискиваться до корня», и она придавала огромное значение ремеслу, недаром «ремеслом» назвала один из своих сборников. Все у нее было вымерено и проверено – не исключая и прозы. У меня сохранилась толстая тетрадь с черновиками ее сравнения Пастернака с Маяковским, в ней огромное количество поправок и вариантов первоначального текста и «попытка чистовика», как она пишет. <...> Вообще в творчестве ее поражает именно это соединение внутреннего кипения и вихревой конструкции стиха с мастерством и контролем формы, бури с тщательностью отделки. Когда было напечатано упомянутое мною стихотворение «Широкое ложе для всех моих рек», я заметил, что на самом деле русло ее стихов глубоко, но проходит в узких скалах, и она немедленно процитировала Теофила Готье:

...pour marcher droit tu chausses,
Muse, un cothurne étroit⁴ [1; 308–309].

Борис Николаевич Лосский (1905–2001), искусствовед:

Говорили мы как-то относительно процесса стихо- и прозосложения с примерами о рукописях и даже корректных листах поэтов и писателей, таких, как Пушкин, Тургенев и Толстой (можно было бы прибавить и Бальзака), полных зачеркнутыми или переставленными словами и испещренными всякими поправками. На это она сказала (надеюсь, что не искажаю смысла), что именно путем многих переделок стихотворение приобретает характер целостности, как будто оно было создано d'un bloc⁵ [1; 305].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

У нее было особое свойство – постигать описываемое ею (явление, состояние, предмет) и описывать постигнутое – не от формы к существу, а, наоборот, из глубины, из сути – к поверхности («хочешь писать дерево – стань им!»). Перевоплощаясь в то, о чем, в того,

⁴ «Для прямого шага, Муза, ты носишь узкий башмачок»(фр.).

⁵ Целиком (фр.).

о ком писала, становясь как бы сердцевиной своей темы, она переставала видеть ее «со стороны», так же, как мы не можем со стороны, без помощи зеркала, увидеть свое лицо, не переставая в то же время создавать его выражения и ощущать их изнутри. Это внутреннее видение она возводила в один из принципов своего творчества («чтобы под веками рождались таинства») – и отрицала приемлемость для себя «обратного метода» – от внешнего к внутреннему. Она любила слово-смысл и слово-музыку, любила самую музыку, именно за их способность выражать чувства, и была глубоко равнодушна к искусствам, пытающимся проникнуть в них путем зримого их отображения. Этот путь казался ей вторичным, иллюстративным, ибо зримое уже существовало и внешний мир уже был сотворен – «Венера Милосская – плоть в мраморе. Джиоконда – лицо на холсте. Душу же в них вкладываем мы, глядящие мы, поэты. Причем – каждый свою» [17; 229].

Елена Александровна Извольская:

Марина прислушивалась так же ведь и к стихам других поэтов и в них раскрывала тайну. И не только поэтов известных, но и едва ли кому-нибудь, кроме ее, попавшихся на глаза. Она очень любила и часто повторяла при мне стихи «неизвестной монахини», которые она записала в мой молитвенник.

Особенно она любила заключительные строки:

Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой! [1; 402]

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (пуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика – и неудовлетворена – ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное [1; 144].

Эмилий Львович Миндлин:

Она читала <...> твердо и вся отдавшись ритму стихов. Читала, словно ворожкой заговаривала, время от времени встряхивая головой – обычно в конце строфы. В отличие от Мандельштама, читая, не смотрела на слушателя, будто читала для себя одной.

Иногда у нее бывал смущенный, даже как бы виноватый вид, когда она начинала читать, и становился державным после третьей, пятой строки. Последнюю строку она произносила скороговоркой, почти глотая, словно спохватываясь, что долго читает, и спешила поскорее закончить [1; 119].

Семен Израилевич Липкин (1911–2003), поэт, переводчик, мемуарист:

Читала Марина Ивановна наизусть. Читала просто, без каданса, голос свежий, прелестный, чисто московский, но мне показалось, что как-то резко, отрывисто произносила строки, нарочито подчеркивая их отстраненность от привычной стиховой музыкальности [1; 499].

Марина Ивановна Цветаева:

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, корабейники строк и чувств, что дело актера и поэта – разное. Дело поэта: вскрыть – скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса – он гол. Поэт всегда замечает следы.

Голос поэта – водой – тушит пожар (строк). Поэт не может декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт – уединенный, подмости для него – позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать Психею для успеха?! Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!

– Я не импресарио собственного позора! [6; 519]

Ариадна Сергеевна Эфрон. *Из письма П. Г. Антокольскому. 13 марта 1963 г.:*

С одинаковой взыскательностью относилась к переводам и у сильных и слабых поэтов. К последним еще взыскательнее, ибо задача труднее. <...>

У меня хранится много ее переводов; громадное количество черновиков – свидетелей громадной работы в глубину, не по поверхности [17; 275].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма А. С. Эфрон. Москва, 23 мая 1941 г.:*

Я сама себе препятствие. Моя беда, что я, переводя любое, хочу дать художественное произведение, которым, часто, не является подлинник, что я не могу повторять авторских ошибок и случайностей, что я, прежде всего, выправляю смысл, т. е. довожу вещь до поэзии, перевожу ее – из царства случайности в царство необходимости, – так я, недавно, около месяца переводила 140 строк стихов молодого грузина, стараясь их осуществить, досоздать, а матерьял не всегда поддавался, столько было напутано: то туманы – думы гор, то эти же туманы – спускаются на горы и их одевают, так что же они: думы – или покров? У автора – оба, но я так не могу, и вот – правлю смысл, и не думай, что это всегда встречается сочувственно: – «У автора – не так». – «Да, у автора – не так». Но зато моими переводами сразу восхищаются чтецы – и читатели – п. ч. главное для них, как для меня – хорошие стихи. И я за это бьюсь [13; 428].

Семен Израилевич Липкин:

Посреди Садовой она внезапно, порывисто вытащила руку из-под моей руки и сказала:

– У меня к вам несколько вопросов. Мне предложили редактировать французский перевод одного эпизода калмыцкого эпоса «Джангар». Перевод с вашего перевода сделал московский француз... (она назвала фамилию, я забыл). Французский язык не так приспособлен, как русский, к тому, чтобы передать всю вашу азиатскую орнаментику, аллитерации и прочее. Наш француз вообще не рифмует. У вас размер такой же, как в подлиннике?

– Чтение подлинника мало что дает. В исполнении сказителя, джангарчи, иные гласные редуцируются, иные растягиваются. Я записывал со слов сказителя.

– Что такое Эрлик-хан?

1. Судья умерших. Владыка ада.

– Хал вынь?

– Халвинг. Головной убор замужней калмычки.

– Вроде наших хористок в кокошниках?

– Нет. Этот убор в быту и сейчас.

– Чиндамани?

– Три драгоценных талисмана, которые на берег ежедневно выбрасывает океан Бумба.

– Океан, как я поняла, священный, а словцо какое-то детское: Бумба. Мне не очень по душе ваш способ перевода. Думаю, что словарь кочевничьего эпоса должен быть более прост, груб.

– Калмыки действительно раньше кочевали, образ жизни их и сейчас прост, но их эпос на протяжении веков отделяли буддийские монахи, благодаря буддизму «Джангар» связан с оригинальной индуистской философией. А калмыки вовсе не грубы. Расскажу вам один случай. В глубине степи, в слабо освещенном сельском клубе, я слушал одну песнь

эпоса. С помощью домбры ее исполнял джангарчи, еще не старый. И вдруг он заснул. В зале наступила тишина. Она длилась несколько минут, пока сказитель не запел снова. Потом я спросил у своего спутника, драматурга Баатра Басангова: «Что же произошло?» Он мне объяснил: сказитель дал знак слушателям, что святыя, сладостные звуки эпоса перенесли его на несколько мгновений в нирвану. Слушатели поняли и тоже заснули, как бы удалились из нашего иллюзорного мира в мир вечный.

– Вот это чудо. Ваш рассказ лучше вашего перевода.

– Спасибо. Помните ли вы, Марина Ивановна, что калмыками интересовался Пушкин? Наш гений нашел время, чтобы сделать пространные выписки из трудов монаха Иакинфа Бичурина, посвященных истории калмыков. В своем «Ехегі monumentum» Пушкин сначала написал «сын степей калмык». Узнав от Бичурина, что калмыки пришли в приволжскую степь из горной Джунгарии, он слово «сын» заменил «другом».

Цветаева восхитилась:

– Вот это святость. Святая точность. Святость ремесла. Вот так надо работать [1; 499–500].

Ариадна Сергеевна Эфрон. *Из письма М. С. Булгаковой. 1968 г.:*

В своей стихотворной работе была точна: видимая сложность многих ее вещей лишь от предельной точности выражения [5; 175].

Мировосприятие

Галина Семеновна Родионова (1895–1977), *была женой французского военного атташе в Индокитае, впоследствии, в годы войны, участница французского Сопротивления; после возвращения в СССР – преподаватель вуза:*

Была она очень эмоциональна и события все воспринимала как-то по-своему, исключительно через импульсы своих рецепторов, иногда «рассудку вопреки». События волновали ее своей эмоциональной, красочной, spektakлярной стороной [1; 420].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма П. П. Сувчинскому. Сен-Жиль, лето 1926 г.:*
Никакого мировоззрения – созерцания. Миров-слушанье, слышанье, ряд отдельных звуков. Может быть свяжутся! Не здесь [8; 321].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма М. А. Волошину. Гурзуф, 18 апреля 1911 г.:*
Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда бледнеет перед воспоминанием о книге, – я не говорю о детских воспоминаниях, нет, только о взрослых!

Я мысленно всё пережила, всё взяла. Мое воображение всегда бежит вперед. Я раскрываю еще нераспустившиеся цветы, я грубо касаюсь самого нежного и делаю это невольно, не могу не делать! Значит я не могу быть счастливой? Искусственно «забываться» я не хочу. У меня отвращение к таким экспериментам. Естественно – не могу из-за слишком острого взгляда вперед или назад.

Остается ощущение полного одиночества, к«оторо»му нет лечения. Тело другого человека – стена, она мешает видеть его душу. О, к«а»к я ненавижу эту стену!

И рая я не хочу, где всё блаженно и воздушно, – я т«а»к люблю лица, жесты, быт! И жизни я не хочу, где всё так ясно, просто и грубо-грубо! Мои глаза и руки к«а»к бы невольно срывают покровы – такие блестящие! – со всего.

Что позолочено – сотрется,
Свиная кожа остается!

Хорош стих?

Жизнь – бабочка без пыли.

Мечта – пыль без бабочки.

Что же бабочка с пылью?

Ах, я не знаю.

Должно быть что-то иное, какая-то воплощенная мечта или жизнь, сделавшаяся мечтою. Но если это и существует, то не здесь, не на земле! [13; 96]

Павел Григорьевич Антокольский:

У Марины поразительное, только ей присущее свойство. Если собеседник, недавний знакомый, показался ей внимательным, так или иначе заслужил ее внимание, она сразу находит для него определение – фантастическое, малодостоверное, но в ее глазах оно уже обрело жизнь. Ей того и нужно! И тогда выходит, что такой-то в ее глазах «молодой Державин»,

другой – «Казанова», третий – «Гоголь», а четвертый – «черт-дьявол» собственной персоной. На таком шатком, но для нее достаточном основании выдумщица строит систему складывающихся отношений, всю их фабулу. Марина верна ей – себе на радость, товарищу на поучение! Но вот что странно: эта легкая и прихотливая постройка обязывала к чему-то большему, более содержательному и ценному, чем обязывает сама жизнь! [1; 87–88]

Марина Ивановна Цветаева. *Из записных книжек:*

Ни одной вещи в жизни я не видела просто, мне... в каждой вещи и за каждой вещью мерещилась – тайна, т. е. ее, вещи, истинная суть [10; 156].

Федор Августович Степун (псевд. А. Лугин; 1884–1965), философ, писатель, публицист, мемуарист. Один из основателей и соредaktor международного философского журнала «Логос», руководитель эстетического семинара при издательстве «Мусагет». В 1922 г. выслан из России. Был руководителем Русского студенческого христианского движения, одним из организаторов «Товарищества зарубежных писателей», публиковался в журналах «Современные записки», «Грани» и др.:

Осенью 1921 года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она, вероятно, и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни, о трудностях как-нибудь прокормить своих двух дочерей. Мне было страшно слушать ее, но ей не было страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. «О, с Пушкиным ничто не страшно». Идя со мною к Никитским воротам, она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры [1; 80–81].

Марк Львович Слоним:

Я был в то время (в 1923 г. – Сост.) литературным редактором пражской «Воли России». «...» Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке. Ей очень понравилось чешское звучание нашего адреса – Ухельни Трх, – и впоследствии она часто спрашивала меня с лукавым смешком: «Ну, как у вас там – угольный торг или политическое торжище?» Услыхав, что редакция находится в пассаже XVIII века с ходами, сводами и переходами и занимает помещение, где в 1787 году Моцарт, по преданию, писал своего «Дон Жуана», в комнате с балконом на внутренний двор, МИ совершенно серьезно сказала: «Тогда я обещаю у вас сотрудничать». Я предупредил ее о политическом направлении журнала – мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: «Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает». Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение [1; 307].

Марина Ивановна Цветаева. *Из записных книжек:*

Проза, это то, что примелькалось. Мне ничто не примелькалось: Этна – п. ч. сродни, куры – п. ч. ненавижу, даже кастрюльки не примелькались, п. ч. их: либо ненавижу, либо: не вижу, я никогда не поверю в «прозу», ее нет, я ее ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста ее. Когда подо всем, за всем и надо всем: боги, беды, духи, судьбы, крылья, хвосты – какая тут может быть «проза». Когда всё на вертящемся шаре?! Внутри которого – ОГОНЬ [10; 222].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма В. Н. Буниной. Клармар, 19 августа 1933 г.:*

И презрительным коммунистическим «ПЕРЕЖИТКОМ» я горжусь. Я счастлива, что я пережиток, ибо всё это – переживает и меня (и их!).

Поймите меня в моей одинокой позиции (одни меня считают «большевичкой», другие «монархисткой», третьи – и тем и другим, и все – мимо) – мир идет вперед и *должен* идти: я же *не хочу, не НРАВИТСЯ*, я вправе не быть своим собственным современником, ибо, если Гумилев:

– Я *вежлив* с жизнью современною...

– то я с ней *невежлива*, не пускаю ее дальше порога, просто с лестницы спускаю. (NB! О лестницах. Обожаю лестницу: идею и вещь, обожаю постепенность превозможения – но самодвижущуюся «современную» презираю, издеваюсь над ней, бью ее и логикой и ногою, когда провожу. А в автомобиле меня *укачивает*, честное слово. Вся моя физика не современна: в подъемнике не спущусь за деньги, а подымусь только если не будет простой лестницы – и уж до зарезу нужно. На все седьмые этажи хожу пешком и даже «бежком». Больше, чем «не хочу» – НЕ МОГУ.) А если у меня «свободная речь» – на Руси речь всегда была свободная, особенно у народа, а если у меня «поэтическое своеволие» – на это я и поэт. Всё, что во мне «нового» – было всегда, будет всегда. – Это всё очень простые вещи, но они и здесь и там *одинаково* не понимаются [9; 243–244].

Марк Львович Слоним:

Удаль, размах привлекали ее, где бы они ни попадались – в прошлом или в настоящем, и она понимала, что от старинного кресла можно дойти и до какой-то внутренней правды, но добавляла: «для души, но не для духа», настаивая на этом существенном отличии. У нее все было в данный, нынешний момент, движения событий она не понимала, от современности была далека, газет не читала, свое творчество определяла как «заговор против века, веса, времени, дробы». Спрашивая себя, чем движется искусство, она повторяла слова своего современника: «силой, страстью, пристрастием». История над этим не имела власти [1; 321].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма Р. Н. Ломоносовой. Париж, 11 марта 1931 г.:

Я – другое, меня всю жизнь укоряют в безыдейности, а советская критика даже в беспочвенности. Первый укор принимаю: ибо у меня взамен МИРОВОЗЗРЕНИЯ – МИРО-ОЩУЩЕНИЕ (NB! очень твердое). Беспочвенность? Если иметь в виду землю, почву, родину – на это отвечают мои книги. Если же класс, и, если хотите, даже пол – да, не принадлежу ни к какому классу, ни к какой партии, ни к какой литер«атурной» группе НИКОГДА. Помню даже афишу такую на заборах Москвы 1920 г. ВЕЧЕР ВСЕХ ПОЭТОВ. АКМЕИСТЫ – ТАКИЕ-ТО, НЕО-АКМЕИСТЫ – ТАКИЕ-ТО, ИМАЖИНИСТЫ – ТАКИЕ-ТО, ИСТЫ-ИСТЫ-ИСТЫ – и, в самом конце, под пустотой:

– и –

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

(вроде как – голая!)

Так было так будет. Что я люблю? Жизнь. Всё. Всё – везде, м. б. всё то же одно – везде [9; 334].

Марк Львович Слоним:

Цветаева романтиком родилась, романтизм ее был природным, и она его громко утверждала: из-за этого многие обвиняли ее чуть ли не в актерстве и выверте – но те, кто хорошо

знал ее, отлично видели всю естественность ее порывов, ее бунта и всего, что неправильно именовали ее «неистовством». <...>

Она отталкивалась от будничной реальности и совершенно искренне признавалась: «Я не люблю жизни как таковой – для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес, только в искусстве. Если бы меня взяли за океан, в рай и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь сама по себе не нужна». И опять-таки многим были не по душе ее постоянное самоутверждение (которое некоторые называли отсутствием скромности), ее гордость и та неудобная прямота, с которой она говорила о своей бедности, унижениях и ежедневных трудностях существования. На самом деле это была непоколебимая уверенность поэта в своей непохожести на других, в своем даре – от Бога – от рода – от судьбы [1; 317–318].

Вера

Екатерина Николаевна Рейтлингер-Кист:

Меня иногда спрашивают: была ли Марина Ивановна верующей? По-моему, определенно – да.

Но, конечно, не в каком-нибудь узкоконфессиональном смысле. Основываю я свое мнение на том, что она с большим уважением относилась к людям, в каком-то смысле посвятившим себя Богу, даже сравнивая их с другими, тоже религиозными, но как бы желавшими соединить свою веру с радостью жизни, что вполне и законно, но что не вызвало ее одобрение по свойственному ей максимализму. <...>

Что еще очень характерно для нее в этом вопросе – это то, что несмотря на ее очень высокое мнение о своем призвании и очень высокое место, на которое она ставила искусство, все же у нее оно четко отделялось от сферы духа в религиозном смысле и не заменяло место Бога. <...> Помню очень четко и ясно одно ее высказывание на эту тему – о том, что поэзия все же, несмотря на ее огромную ценность, не есть высшая и последняя ценность, – она сказала: «У постели умирающего нужен не поэт, а священник» [1; 290–291].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Религиозного воспитания мы не получали (как оно описывается во многих воспоминаниях детства – церковные традиции, усердное посещение церквей, молитвы). Хотя празднования Рождества, Пасхи, говенья Великим постом – родители придерживались, как и другие профессорские семьи, как школы тех лет, но поста в строгом смысле не соблюдалось, рано идти в церковь нас не поднимали, все было облегчено.

Зато нравственное начало, вопрос добра и зла внедрялись мамой усердно (более усердно, чем, может быть, это надо детям? пылко, гневно при каждом проступке; иногда растаяв в нас скуку слушать одно и то же и тайный протест).

Но зато образы тех людей, которые жили по этим, нам не удававшимся, не прививавшимся правилам, как мама сумела внедрить их в нас!

Дерзновенный полет Икара и гибель за похищенный огонь прикованного к скале Прометея, все герои мифологии и истории, Антигона, Перикл, Бонапарт, Вильгельм Телль, Жанна д'Арк, все подвиги, смерть за идею, всё, чем дарили нас книги, исторические романы и биографии, и доктор Гааз, отдавший жизнь заключенным больным людям, герой уже девятнадцатого века, – как насаждала в нас мать поклонение героическому! И имена английских писателей Томаса Карлейля и Джона Раскина я слышала от нее в мои одиннадцать лет, в болезнь ее последней зимы [15; 56].

Марина Ивановна Цветаева:

Нет, со священниками (да и с академиками!) у меня никогда не вышло. С православными священниками, золотыми и серебряными, холодными как лед распятия – наконец подносимого к губам. Первый такой страх был к своему родному дедушке, отцову отцу, шуйскому протоиерею о. Владимиру Цветаеву (по учебнику Священной истории которого, кстати, учился Бальмонт) – очень старому уже старику, с белой бородой немножко веером и стоячей, в коробочке, куклой в руках – в которые я так и не пошла.

– Барыня! Священники пришли! Прикажете принять?

И сразу – копошение серебра в ладони, переливание серебра из руки в руку, из руки в бумажку: столько-то батюшке, столько-то дьякону, столько-то дьячку, столько-то про-сви́рне... Не надо бы – при детях, либо, тогда уж, не надо бы нам, детям *серебряного* времени, про тридцать *сребреников*. Звон серебра сливался со звоном кадила, лед его с льдом парчи

и распятия, облако ладана с облаком внутреннего недомогания, и все это тяжело ползло к потолку белой, с изморозными обоями, залы, на непонятно-жутких повелительных возгласах:

– Благослови, Владыко!

– О-о-о...

Все было – о, и зала – о, и потолок – о, и ладан – о, и кадило – о. И когда уходили священники, ничего от них не оставалось, кроме последнего, в филодендронах, о – ладана.

Эти воскресные службы для меня были – вой. «Священники пришли» звучало совершенно как «покойники».

– Барыня, покойники пришли, – прикажете принять?

Посредине черный гроб,
И гласит протяжно поп:
Буди взят моги-илой!

Вот этот-то черный гроб стоял у меня в детстве за каждым священником, тихо, из-за парчовой спины, глазел и грозил. Где священник – там гроб. Раз священник – так гроб.

Да и теперь, тридцать с лишним лет спустя, за каждым служащим священником я неизменно вижу покойника: за стоящим – лежащего. И – только за православным. Каждая православная служба, кроме единственной – пасхальной, *вопящей* о воскресении и с высоты разверстых небес отрясающей всякий прах, каждая православная служба для меня – отпевание.

Что бы ни делал священник, мне все кажется, что священник над *ним* наклоняется, *ему* кадит, изо всех сил уговаривает и даже – заговаривает: «Лежи, лежи, а я тебе попою...» Или: «Ну, лежи, лежи, чего уж тут...» Заклинает.

Священники мне в детстве всегда казались колдунами. Ходят и поют. Ходят и махают. Ходят и колдуют. Охаживают. Окуривают. *Они*, так пышно и много одетые, казались мне не нашими. <...>

От священников – серебряной горы спины священника – только затем горы, чтобы *скрыть*, мне и Бог казался страшным: священником, только еще страшней, серебряной горой: Араратом. И три барана детской скороговорки – «На горе Арарат три барана орали» – конечно, орали от страха, оттого, что остались одни с Богом.

Бог для меня был – страх.

Ничего, ничего, кроме самой мертвой, холодной как лед и белой как снег скуки, я за все мое младенчество в церкви не ощутила. Ничего, кроме тоскливого желания: когда же кончится? и безнадежного сознания: никогда. Это было еще хуже симфонических концертов в Большом зале Консерватории [7; 46–48].

Елена Александровна Извольская:

Мы приходили к ней на огонек, и она поила нас чаем или вином. А по праздникам баловала нас: блинами на масленицу, пасхой и куличом после светлой заутрени. Мы вместе ходили в маленькую медонскую церковь Св. Иоанна Воина, очень скромную, но красиво расписанную. Марина редко говорила о религии, но просто и чистосердечно соблюдала церковные обряды. Заутреня в Медоне была как бы продолжением пасхальной ночи в Москве [1; 403].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

О религии или вере в Бога мне не пришлось с ней говорить, но я была ей благодарна за то, что никогда не прочла у нее ни одной строчки, которая показалась бы мне оскорблением моей веры. Для нее – Поэт «никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разни-

цей, что высшие знают старшего... Большинство же и этого не знает и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что уже сопоставление этих имен – кощунство и святотатство».

И вот этого-то святотатства Марина Цветаева никогда не совершала, инстинктивно зная сравнительность ценностей [1; 427].

Марина Ивановна Цветаева:

Есть рядом с нашей подлой жизнью – другая жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, – всё, как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены.

Мы слишком мало об этом помним [12; 37].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма В. Н. Буниной. Кламар, 28 апреля 1934 г.:*
Любить Бога – завидная доля! [9; 271]

Ольга Алексеевна Мочалова:

Был уже январь (1940 г. – Сост.), на улице продавались елки. М. Ц. сказала: «Что такое елка без Христа?» [1; 493]

Свойства ума и мышления

Николай Артемьевич Еленев:

Пытливости разума и остроте мышления Цветаевой когда-нибудь будет отведено особое место в работах о ее творчестве и литературных созданиях. Без какой бы то ни было предварительной научной подготовки или исследовательского опыта, Марина постигла непосредственно изначальные истины, которые огромному большинству сообщаются или чужой мыслью, или приобретаются в итоге долгого созерцания и духовного саморазвития. Ум Цветаевой и ее способность даже в незначительно-повседневной беседе поколебать общепринятые, преемственно-утвердившиеся исповедания и взгляды не только поражали многих, но и пугали [1; 269–270].

Марк Львович Слоним:

МИ была чрезвычайно умна. У нее был острый, сильный и резкий ум – соединявший трезвость, ясность со способностью к отвлеченности и общим идеям, логическую последовательность с неожиданным взрывом интуиции. Эти ее качества с особенной яркостью проявлялись в разговорах с теми, кого она считала достойными внимания [1; 322].

Федор Августович Степун:

Говорим о романтической поэзии, о Гёте, мадам де Сталь, Гельдерлине, Новалисе и Беттине фон Арним. Я слушаю и не знаю, чему больше дивиться: той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму: его афористической крылатости, его стальной, мужской мускулистости.

Было, впрочем, в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное: некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И, не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе. Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гёте, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире быть не может и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево [1; 80].

Марк Львович Слоним:

Почти всегда, расставшись со мной, МИ вдогонку посылала письмо, ей не терпелось договорить, добавить или привести стихотворение, лучше всего выражавшее ее чувства и мнения. Вообще она охотно писала письма – и мне порою казалось, что она забывала о том, кому пишет, – так сильно было ее желание преодолеть молчание и найти «дружеское ухо». Этим объясняется множество ее умственных и эмоциональных излияний, отправленных, вероятно, не по адресу. Она писала четким, почти каллиграфическим почерком, с постскриптумами, добавлениями сверху, снизу, с боков, с выделенными словами – подчеркнутыми и в разрядку, чтобы сохранить интонацию. В корреспонденции своей – главной ее отдушине в годы одиночества – она тоже соблюдала свой «темп бега», как я ей говорил. Письма она отправляла немедленно по написании, и если не могла этого сделать (не было ни марки, ни денег на марку) – интерес пропадал, и когда письмо залеживалось дня на два, она его рвала и выбрасывала. И ответа она требовала такого же стремительного и, если он медлил, яростно обвиняла корреспондента в небрежности, невнимании и прочих грехах [1; 322–323].

Ариадна Сергеевна Эфрон. *Из письма В. Б. Сосинскому. 5 января 1970 г.:*

В переписку с близкими и далекими друзьями – истинными или мнимыми – Цветаева вкладывала не только ту же страстную, жизнеутверждающую, действенную силу, что и в личные отношения с людьми (ибо «друг есть действие», как говорила она), но и высокую творческую взыскательность к начертанному слову, к сформулированной мысли; во многих, даже самых обыденных и про обыденное, письмах ее ощущается та же работа ума, чувства и воображения, что и в самых совершенных и завершенных ее произведениях.

Не все письма создавались Цветаевой «прямо набело», некоторые из них, обращенные к собратьям по перу, великим и малым, равно как и к людям, в той или иной мере причастным к искусству, рождались в ее рабочих тетрадях, начинались с черновиков [17; 292–294].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах [1; 145].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма А. В. Бахраху. Мокропсы, 20 июля 1923 г.:*

У меня идиотизм на места, до сих пор не знаю ни одной улицы. Меня по Праге водят. Кроме того, панически боюсь автомобилей. На площади я самое жалкое существо, точно овца попала в Нью-Йорк [8; 571].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники. <...>

Обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явно – или грубо – смешном [1; 145].

Виктор Ефимович Ардов (1900–1976), писатель:

Юмор у нее был отличный и тонкий; я бы сказал: это был юмор ученого. Для ученого характерно точное, систематизированное представление о действительности. Поэтому ему смешно малейшее нарушение смысла, ничтожное противоречие в разумной системе общества; знание законов языка делает интеллигента чутким к нарушениям грамматики и стиля, к отступлениям от принятых правил. В высокой степени обладала всем этим Марина Ивановна: она нам часто рассказывала какие-то речения и эпизоды – очень забавные, сохранявшиеся долгие годы в ее памяти... [4; 150–151]

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Из двух начал, которым было подвластно ее детство – изобразительные искусства (сфера отца) и музыка (сфера матери), – восприняла музыку. Форма и колорит – достоверно осязаемое и достоверно зримое – остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного – так дети «смотрят картинки», – поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра (любила Дюрера, Доре) была ближе ее духу, нежели живопись. <...>

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» – немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю [1; 146].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Маринина память – цепкая, зоркая, долгая – была одной из граней ее дарования [1; 211].

Собеседница

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь – сжата, реплики – формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком [1; 143–144].

Галина Семеновна Родионова:

Говорила быстро, оживленно, всегда интересно, даже и обычный разговор превращался в философский театр [1; 415].

Павел Григорьевич Антокольский:

Речь ее быстра, точна, отчетлива. Любое случайное наблюдение, любая шутка, ответ на любой вопрос сразу отливаются в легко найденные, счастливо отточенные слова и так же легко и непринужденно могут превратиться в стихотворную строку. Это значит, что между нею, деловой, обычной, будничной, и ею же – поэтом разницы нет. Расстояние между обеими неуловимо и ничтожно [1; 86].

Елена Александровна Извольская:

Даже если позабыть лицо Марины, не забыть ее голоса. Не только на эстраде, но и дома, и среди друзей она оставалась корифеем. У нее был звонкий, довольно низкий тембр, легко переходящий к высоким нотам. Она говорила сдержанно, но как власть имущая; речь ее напоминала звон бронзы.

«...» О многом пережитом Марина нам часто рассказывала: она умела это делать необыкновенно красочно, с «изображениями в лицах» или подражала чужим голосам и интонациям. Мы не могли наслушаться. Ведь она знала всех поэтов «серебряного века» и следующих за ним поколений, от Блока до Пастернака. Со многими дружила, некоторых горячо любила, как своего «Макса» Волошина [1; 402].

Наталья Викторовна Резникова. В записи В. Лосской:

Она охотно на людях разговаривала. У нее были удачные и острые реплики. Она была остроумная, меткая и едкая. Она была не скромная, а уверенная в себе, говорила веско, резко, иногда и надменно и умела обижать людей [5; 152].

Роман Борисович Гуль (1896–1986), писатель, журналист, автор трехтомных мемуаров «Я унес с собой Россию»:

Говорить с ней было интересно обо всем: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то «белым стихом» [1; 253].

Владимир Васильевич Вейдле (псевд. Н. Дашков; 1895–1979), историк искусства и литературы, критик, поэт. В 1924 г. покинул Россию. Преподавал историю искусств в парижском Богословском институте:

Ничего она не говорила безразличного к интонациям и словам, а потому и не говорила ни о чем, что такое безразличие делало бы неизбежным или единственно уместным. Это не означало неперменного выбора возвышенных тем, как в немножко комическом парижском «салоне» Мережковских, собиравшемся по воскресеньям, где все остальные темы назывались «обывательщиной». Ее для Цветаевой не существовало. Мелочей жизни она не замечала, если не могла их преобразить. Без натяжки она их преображала: метким и живым словом или незаметным приподнятием до того этажа, где они без неправды породнились с вымыслом [1; 411].

Николай Артемьевич Еленев:

Мысль Марины в беседе, в противоположность ее перегруженной прозе, была отрывиста. Она не умела и не любила разглагольствовать. Если разговор порою увлекал ее, мысли Марины были сжаты, коротки, но всегда остры, напоминая сухие, мгновенные точки электрической искры. К тому же Марина умела слушать собеседника [1; 268].

Марк Львович Слоним:

Она была исключительным и в то же время очень трудным, многие говорили – утомительным, собеседником. Она искала и ценила людей, понимавших ее с полуслова, в ней жило некое интеллектуальное нетерпение, точно ей было неохота истолковывать брошенные наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать на лету, разговор превращался в словесный теннис, приходилось все время быть начеку и отбивать метафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути по намекам, отрывкам.

Как и в поэзии, МИ перескакивала от посылки к заключению, опуская промежуточные звенья. Самое главное для нее была молниеносная реплика – своя или чужая, иначе пропадал весь азарт игры, все возбуждение от быстроты и озарений. Я порою чувствовал себя усталым от двух-трех часов такого напряжения и по молодости лет как-то стыдился этого как признака неполноценности и скрывал это. Лишь много лет спустя я услышал от других схожие признания об этих литературных турнирах. Впрочем, иногда МИ просто рассказывала о недавних впечатлениях или о своем прошлом – о последнем – обрывками, и тут проявлялся ее юмор, ее любовь к шутке, к изображению глупости и наивности ее соседей, но смех ее нередко звучал издевкой и сарказмом. Я не ощущал доброты в ее речах [1; 322].

Вадим Леонидович Андреев:

В разговоре больше всего ценила реплику, быстроту ответа – Цветаеву никогда нельзя было только слушать, ей всегда надо было отвечать. В суждениях о стихах бывала пристрастна и субъективна. Свои стихи никому не позволяла критиковать – всякую критику принимала как оскорбление, считая, что она одна обладает абсолютным слухом [3; 174].

Франтишек Кубка:

Она была настолько лирична, что и в разговорах совершенно неличных постоянно говорила о себе. Абсолютно ненавязчиво и мило. Например, как это ужасно – заниматься хозяйством. Так любят рассказывать о себе малые дети.

Говорила она по-московски, чуть приподнято, но совершенно естественно. Словарь ее был богат. Наряду с обычной обиходной речью он изобилдовал и редкими терминами, и одновременно просторечными выражениями, словечками и оборотами. Она умела по-деревенски назвать каждое растение, любое орудие крестьянского труда, всякую ленточку или кружевце на сарафане. В одной фразе она могла соединить метафору из области барочной архитектуры с образом расцветшей межи. Как далека она была от мистики, в отличие от большинства сверстников! [1; 353–355]

Мария Иосифовна Белкина:

Могла охотно беседовать со сторожем на Воробьевых горах, где мы гуляли, или с нашей Конюшковской соседкой, блаженной дурочкой Сашей. Могла, казалось, даже заинтересованно, выслушивать мои рассказы о Конюшках, о старом доме, в котором мы жили. Задавала самые простые житейские вопросы и даже отвечала впопад, хотя явно между вопросом и ответом успевала уже отлучиться. Но со своими собратьями по ремеслу, интеллектуалами, зачастую обходилась круто. Не берусь судить, умела ли она вести спор, выслушивать все за и против. Хватало ли у нее на это выдержки, терпения, а главное, желания. У меня оставалось впечатление, что она была нетерпима к мнению, противоположному ее собственному. Помню, как, например, однажды у Вильмонтов, когда кто-то из гостей, сидевших за столом, стал хвалить «Lotte in Weimar»⁶ Томаса Манна, недавно переведенную хозяйкой дома, отличной переводчицей, Марина Ивановна вдруг оборвала говорившего; ей была не по душе эта вещь, там Гёте был не ее Гёте – и, должно быть, не замечая декларативности и резкости тона и неловкости, воцарившейся за столом, понеслась в своих доводах.

Говорила она стремительно, и в монологе ее был полет. Слова не успевали за мыслями, она не заканчивала фразу и перескакивала на другую; думая, должно быть, что высказала уже все до конца, она перебивала самое себя, торопилась, зачастую бросая только намек, рассчитывая, что ты и так, с полуслова, с полунамека, все поймешь, что ты уже всецело в ее власти, подчинен ее логике и успеваешь, не можешь, не смеешь не успевать за ней в ее вихревом полете. Это поистине был вихрь, водоворот мыслей, чувств, фантазий, ассоциаций. Она могла быть одновременно и во вчера и в завтра, где-то в тарусской деревеньке и возле Нотр-Дам, и на наших тихих, булыжных Конюшках и в Карфагене! <...>

После встречи с Мариной Ивановной, всегда безмерно интересной и желанной, чувствовалась такая усталость, как после тяжелой физической работы [4; 32–33].

Марк Львович Слоним. В записи В. Лосской:

Ее любимая игра – словесный теннис. Скажешь: «Венеция», она отвечает: «Казанова». У нее была удивительная способность воспламеняться от слов [5; 214].

⁶ «Лота в Веймаре» (нем.).

Особенности поведения. Привычки

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде [1; 144].

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова:

Она любила только серебро; золото – золотой телец, говорила она презрительно, для сытых, благополучных и самодовольных.

– А цвет солнца, воплощенный в золоте, а царица Савская?.. Ведь она в золотых браслетах...

– Востоку пристало, не нам. Мы – серебро [1; 292–293].

Анастасия Ивановна Цветаева:

С семнадцати лет Марина стала курить. Сперва – скрывая. Щадя папу, не курила при нем [15; 308].

Николай Артемьевич Еленев:

Курила она много и некрасиво. Это тоже признак поведения и жеста. <...> По сей день я не могу понять, как могла позволить себе Марина выдыхать табачный дым через ноздри. Вместо портсигара у нее была старая жестяная коробка от дорогих папирос, деревянный мундштук был прожжен. Если она не докуривала папиросы, она вкладывала ее остаток обратно в коробку [1; 265].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Курила: в России – папиросы, которые сама набивала, за границей – крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью [1; 144].

Ариадна Викторовна Чернова-Сосинская:

Любимая ее поза нога на ногу, сильный наклон вперед, острый локоть упирается в колено, в руках потухшая папироса. Она была очень близорука, но очков не носила, предпочитая свой собственный мир – лица людей в украшающей их дымке, огромное солнце, расплывчатые дали – отчетливому миру беспощадной оптики. Когда ей хотелось что-либо рассмотреть, она подносила к глазам лорнет, и даже этот жест, связанный в нашем представлении со старомодной небрежностью, еще больше подчеркивал предельную интенсивность всего ее существа [1; 299–300].

Мария Иосифовна Белкина:

Запоминался взгляд – не глаза. <...> Ощущение было, словно к тебе прикоснулись холодным, стальным скальпелем... операция не из приятных, но мгновенная. Потом целый вечер можно было провести в одной комнате и не встретиться глазами. Она не отводила их, не прятала, просто не смотрела. Смотрела на папиросу, которая ей всегда сопутствовала. На огонек спички. <...>

Неприятность и резкость этого ее первого взгляда, может, и определялась именно тем, что она глядела на тебя столь пронизывающе своими очень светлыми, прозрачными, льди-

стыми глазами, глядела незряче, пытаюсь не глазом, а всем своим нутром, всеми своими сверхчувствами тебя опознать. Глядела и не видела. Но понять это с первого раза было трудно – ибо она ничем не выдавала своей близорукости, не щурилась, не подносила ничего близко к глазам, не наклонялась к предметам. Держалась так, словно у нее отличное зрение, с гордо чуть откинутой назад головой, осанка очень прямая. И я не сразу поняла, что она близорука.

И еще, чтобы с этим уже покончить, – не заметить, что она «незрячая», было все же нельзя, и при последующих встречах начинало казаться, что она вроде бы как смотрит и не смотрит или, вернее, невидяще смотрит. И это неважно, скользнул ли ее взгляд по тебе, или по полке с книгами, или по так любимым ею ее серебряным цыганским кольцам. Смотрит и не видит... <...>

Присутствуя, она всегда отсутствовала. Она никогда не была рядом, никогда – тут, всегда – *там*, а что происходило *там*, было скрыто за полуопущенными веками, за напряженным, резко очерченным профилем [4; 26–28].

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова:

Я всегда чувствовала, что, отводя глаза, она смотрит на вас с интересом, но слегка со стороны, отодвигаясь, или приглашает вас следовать за нею – и это даже устанавливало с нею не отчужденность, а какую-то *complicité* (общность). И еще в них выражалась ее неуловимость, которая всегда в ней присутствовала. Она здесь, но вот уже там – и вот сейчас улетучится [1; 292].

Галина Семеновна Родионова:

У нее была привычка морщить лоб – возможно, от близорукости, что придавало ей слегка надменный вид [1; 414].

Елена Александровна Извольская:

Мне хочется тут подчеркнуть, что Марина вовсе не была столь «дикой», «одиноким», «нелюдимой», как ее нынче часто изображают и как она сама себя любила изображать. По крайней мере внешне она людей не чуждалась, даже охотно с ними знакомилась, интересовалась ими. В ней была очень большая чуткость к человеку, она искренно хотела с ним общаться, но не умела, быть может, или не решалась [1; 398–399].

Андрей Седых (*псевдоним, настоящее имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902–1994*), писатель, журналист:

Рукопожатие ее было крепкое, почти мужское. Засмеялась:

– Это меня Макс Волошин научил, так крепко руку пожимать. Я до Макса подавала руку как-то безразлично – механически, сбоку... Он сказал: «Почему вы руку подаете так, словно подбрасываете мертвого младенца?» Я возмутилась. Он сказал, что нужно прижимать ладонь к ладони, крепко, потому что ладонь – жизнь [1; 378–379].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Новые отношения с новыми людьми у Марины начинались зачастую с того, что, заметив (а не то и вообразив) искорку возможной общности, она начинала раздувать ее с такой ураганной силой, что искорке этой случалось угаснуть, не разгоревшись, или, в лучшем случае, тайно тлеть десятилетиями, чтобы лишь впоследствии затеплиться робкой заупокойной свечкой.

Разумеется, Марина была способна и на «просто отношения» – приятельские, добрососедские, иногда даже нейтральные – и искру возможной (а по тем, эмигрантским, време-

нам и обстоятельствам, пожалуй, и невозможной) общности искала и пыталась найти далеко не в первом встречном.

Однако современное ей несоответствие отзыва – зову, отклика – оклику, уподоблявшее ее музыканту, играющему (за редчайшим исключением) для глухих, или тугоухих, или инакомыслящих, заставлявшее ее писать «для себя» или обращаться к еще не родившемуся собеседнику, мучило ее и подвигало на постоянные поиски души живой и родственной ей [1; 209–210].

Екатерина Николаевна Рейтлингер-Кист:

Знакомясь, отворачивала голову и едва отвечала. Постепенно (если что-то заинтересовало) голова с профилем оборачивалась en face, но если неприемлемое, то кроткая улыбка (одновременно неуловимо язвительное в ней), и наповал уничтожала собеседника своей репликой – молниеносной, острой, отточенной и часто блестяще парадоксальной. Круг людей, которых она признавала (и которые ценили ее), был очень невелик [1; 287].

Вадим Леонидович Андреев:

М. И. никогда не встречала нового человека просто, но всегда играя некую роль и всегда стараясь показаться не такою, какой она была, худшею, чем на самом деле: «полюби черненькую, беленькую всякий полюбит». И многих, конечно, отпугивала. Но те, кто сквозь игру умел разглядеть настоящего человека и большого подлинного поэта – поэта во всем – и в жизни, и в чудачествах, и в ненависти, и в любви, привязывались к ней крепко и надолго [3; 173].

Нина Павловна Гордон (урожд. Прокофьева; 1908–1997), приятельница А. С. Эфрон. В 1930-е гг. секретарь Михаила Кольцова в журнально-газетном объединении (Жургаз), потом К. М. Симонова. Из письма А. С. Эфрон. 1961 г.:

Меня она покорила сразу простотой обращения. И тогда (в 1939 г. – Сост.), и много раз потом – все всегда было с ней просто [1; 441].

Зинаида Петровна Кульманова:

Так, например, она однажды в редакции захотела пить. Пока я собралась поискать стакан, Марина Ивановна взяла стакан из-под карандашей, высыпала карандаши на стол, налила тут же в этот стакан воды из графина и выпила [1; 496].

Семен Израилевич Липкин:

Беседа, мы медленно, как в ее стихотворении, шли по замоскворецким улочкам и переулкам, мимо складов, которые когда-то были храмами. Марина Ивановна сначала всякий раз крестилась, потом перестала. Вдруг, с той простотой, которая была свойственна Руссо или Толстому, она сказала, что ей нужно в уборную. В Москве это и сейчас проблема, а в те годы – почти неразрешимая. Я задумался. Вспомнил, что сравнительно недалеко, на Большой Полянке, я как-то заприметил здание райисполкома, и утешил мою спутницу:

– Придется потерпеть минут двадцать.

Повел Марину Ивановну наугад переулками и к большой радости скоро увидел заветное административное здание. Не знаю почему, но я уверенно вел Марину Ивановну по длинному коридору, не обращая внимания на встречаемых чиновников и посетителей-просителей, и нашел то, что ей нужно было. На улице Марина Ивановна меня спросила:

– Все москвичи так поступают?

– Только те, кто уважает райисполкомы.

Я хотел ее рассмешить, но Марина Ивановна как бы меня не расслышала. <...>

С тех пор как мы встретились у Охотного ряда, прошло не менее шести часов. Я спросил Марину Ивановну, не проголодалась ли она. Марина Ивановна кивнула головой. А я еще утром запланировал, что поведу ее в «Националь», предвкушал удовольствие – вкусно ее накормить, выпить коньячку, – деньги у меня тогда водились. Но, когда мы вышли из музея, Марина Ивановна заметила рядом, на улице Грицевец, столовую. Вывеска сообщала, что столовая принадлежит «Метрострою».

Оказалось, что вход в нее открыт для всех. Я ужаснулся. Я хорошо понимал, что собой представляет эта столовая, и туда я поведу волшебную поэтессу, парижанку? Но как я ни убеждал Марину Ивановну не вступать в обжорку, в двух шагах – «Националь», она заупрямилась. Мы открыли дверь.

Нас обдал пар, мутно дышавший кислым запахом квашеной капусты. Я усадил Марину Ивановну за свободный столик, о котором в прошлые времена написали бы: «сомнительной чистоты». Сейчас он был несомненно грязен. Сомнительной чистоты был поднос. Я встал с ним в небольшую очередь. Меню: щи суточные, мясные котлеты из хлеба с разваренными макаронами, зеленовато-желтая жидкость под названием «компот». Все это Марина Ивановна уплетала без брезгливости, даже с некоторым удовольствием [1; 502–503].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма Ю. П. Иваску. Клармар, 4 июня 1934 г.:

Вы спрашиваете: любимая еда. Разве это важно? Ненавижу каши, все, кроме черной, и даже в Москве 1920 г., в самый лютый голод пшена – не ела. А так, очень скромна и проста, ем всё, и даже мало отличаю, чем во времена нашей дружбы сердечно огорчала Мирского (страстного едока и ценителя, как, часто, очень одинокие люди) водившего меня по лучшим – тайно, знатовщицки (знатовщически) – лучшим – ресторанам Парижа и Лондона. – «Вы всё говорите! – сокрушенно воскликнул однажды он, – и Вам всё равно, что есть: Вам можно подложить сена!» – Но не пшена. –

Никогда не выброшу ни крохотнейшего огрызка хлеба, если же крошки, – в печь и сжечь. Корка – в помойке – ЧУДОВИЩНО, так же как опрокинутый вверх дном хлеб или воткнутый в хлеб – нож. Меня из-за этого в доме считают скупой (объедки), я же *знаю*, что это – другое. Непритязательность и от отца и от матери: не снисходившей, не снижавшейся до *любимого блюда* (вообще – протестантски и спартански!) не подозревавшего, что может быть НЕ-любимое.

Как отношусь к пожиранию мяса? *Чудесно*, т. е. охотно «пожираю» – когда могу, когда не могу – обхожусь. (*Всё* мое отношение ко всему внешнему миру, т. е. ко всему, что со мной здесь может хорошего случиться, ко всему хорошему – в *не* – в этом одном слове «обхожусь», и даже теперь кажется уже вправде сказать: – обошлась.) [9; 392–393]

Ида Брониславовна Игнатова, соседка М. И. Цветаевой в Москве в 1940–1941 гг. (Покровский бульвар, 14):

Очень не любила городской транспорт. На 7#й этаж нашей квартиры чаще поднималась пешком, без лифта [4; 159].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком [1; 145].

Наталия Викторовна Резникова:

Марина любила делать подарки, и у меня чудом сохранилось подаренное ею ожерелье. В нем много от нее самой: коричневый, любимый ее цвет и дерево (Сивилла) [1; 384–385].

Нина Герасимовна Яковлева (1888–1967), переводчица:

Марина Ивановна раздаривала свои бусы нам, женщинам, встречавшимся на ее пути. Она любила дарить – «давать, а не брать»...

Мне она подарила янтари, купленные, по ее словам, в Париже [1; 485].

Нина Павловна Гордон. Из письма А. С. Эфрон. 1961 г.:

Вечером, когда я собиралась уже уезжать, Марина ушла в комнату, быстро вернулась, неся в руках бусы из голубого хрусталя. «Нина, это вам. Они очень пойдут к вашим глазам». <...> Марина сказала: «Дайте я вам их надену, в первый раз всегда так трудно завернуть этот бочоночек у застежки!» <...> Она сказала еще: «Это из Чехии» [1; 441].

Татьяна Николаевна Кванина:

Подарила мне Марина Ивановна и кораллы, случайно оставшиеся от нитки, когда-то подаренной Сонечке (Голлидэй. – Сост.): 13 крупных бусин в виде бочонков, они целы (правда, 12 штук, одной нет). Марина Ивановна чуть торжественно сама надела мне эти бусы на шею. (Москвин сказал, что это выглядело как какой-то обряд.) [1; 474]

Марина Ивановна Цветаева. Из записной книжки 1919–1920 гг.:

Дарила я кольца: О. Мандельштаму (серебряное, с печатью – Адам и Ева под деревом добра и зла), Т. Чурилину (с гранатами), Коле Миронову (цыганское, с хризопразом), Завадскому (серебряное китайское), П. Антокольскому (чугунное, с розами), В. Алексею (большое, китайское) и – наконец – Милиоти, с александритом [12; 90].

Наталья Викторовна Резникова:

«Трогательно» – это было ее слово, она часто его произносила [1; 385].

Марк Львович Слоним:

МИ не была суеверна, но придавала особый смысл знакам, совпадениям, точно они открывали замысел судьбы. Она родилась в полночь с субботы на воскресенье (26/27 сентября 1892 г.) и в этом видела предзнаменование своего пути: от ночи к радости, от земного к духовному [1; 321].

Ода пешему ходу. Ее прогулки

Павел Григорьевич Антокольский:

Куда бы ни шла эта женщина, она кажется странницей, путешественницей. Широкими мужскими шагами пересекает она Арбат и близлежащие переулки, выгребая правым плечом против ветра, дождя, вьюги, – не то монастырская послушница, не то только что мобилизованная сестра милосердия [1; 86].

Роман Борисович Гуль:

Ходила широким шагом, на ногах – полумужские ботинки (особенно она любила какие-то «бергшуэ»⁷).

Помню, в середине разговора Марина Ивановна неожиданно спросила: «Вы любите ходить?» – «Люблю, много хожу». – «Я тоже. Пойдемте по городу?» [1; 252]

Вадим Леонидович Андреев:

Для того, чтобы узнать по-настоящему М. И. и дружить с нею, нужно было оторвать ее от быта, вывести из дому, уйти с нею на прогулку. Она любила дальние прогулки, ходила быстро и бывала неутомима. Во время таких прогулок она, наконец, становилась настоящей – умной, зоркой, несмотря на свою близорукость, всегда интересной и живой [3; 173–174].

Ариадна Сергеевна Эфрон. *Из письма М. С. Булгаковой. 1968 г.:*

Ходьба, природа были маме необходимы; у нее было стремление одолевать пространство, больше всего любила горы, холмы, не гладкую местность. «...» В ходьбе, как и в труде, была неутомима и неутолима. Любила и одинокие прогулки, и с людьми [5; 173].

Эмилий Львович Миндлин:

Москву, всю Москву впервые мне показывала она. Но как показывала! У каждого камня, у каждой кирпичины останавливалась и читала все, какие только написаны об этом камне, стихи русских поэтов! И свои, разумеется. Стихов о Москве у нее множество, и о Москве она писала с какой-то удивительной радостью.

– Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

Мы ходили с ней вокруг Кремля и подолгу останавливались возле каждой кремлевской башни. Хорошо, что в те дни люди в Москве не многому удивлялись. Они едва оглядывались на молодую женщину с короткими волнистыми волосами, с челкой на лбу, в цыганской одежде с белым воротничком гувернантки, читающую стихи, будто колдовской заговор творящую!

В Александровском саду – тогда без цветов, заброшенном и безлюдном – она подвела меня к гроту.

– Это – детство. – Она заглянула в грот, он был завален щебнем, замусорен. – Бедный, – вздохнула Марина. – В детстве нас с Алей водили сюда. Александровский сад был как праздник. – И вспомнила: – Нас редко водили в Александровский сад.

⁷ Горные ботинки (нем.).

Кажется, это единственный случай, когда при мне она вспомнила свои детские годы. Да, она вообще никогда не говорила о прошлом.

Мы обошли с ней пустынный, неухоженный Александровский сад. Цветаева почти все время молчала, не возвращалась к стихам, нигде после грота не задерживалась и зелеными, прозрачными до самого дна глазами недоуменно смотрела на опустошение.

Прогулка по Александровскому саду была безмолвной – первой без рассказов о старой Москве и без стихов.

Ходили и вокруг уже не существующего теперь храма Христа Спасителя. Она с увлечением рассказывала о проекте Витберга – памятника на Воробьевых горах, вместо которого построен был этот огромный храм. Всегда вспоминаю прогулки с Цветаевой, когда прохожу мимо плавательного бассейна на месте снесенного храма Христа...

Вспоминаю прогулки и по Тверской – тогда еще узкой, тесной – от древней церквушки Дмитрия Солунского, что на углу площади – в те времена Страстной, ныне Пушкинской, – вниз по направлению к Иверской часовне возле Исторического музея. По пути Цветаева всегда останавливалась возле Московского Совета лицом к обелиску Свободы. Она называла обелиск лучшим, единственным красивым памятником, воздвигнутым в первые годы советской власти. Прочие наспех сооруженные памятники, скульптуры – конструктивистские – скорее огорчали, чем возмущали Марину Ивановну. Увидев какой-либо из них, она вздыхала: «Портят Москву!» Но обелиск Свободы на площади Моссовета любила. «Смотрите, как ему здесь хорошо! И всей площади с ним хорошо! И домам вокруг!» <...>

Она очень любила Новодевичий монастырь. Однажды отправились туда втроем – Марина, Аля и я. У стен монастыря, на заросшем травой берегу Москвы-реки, Цветаева читала то самое стихотворение о Москве, которое позднее, при нашем прощании, переписала на чистой странице книжки «Москва» своим бисерным почерком красными и поныне не выцветшими чернилами. Стихи были старые – еще 1916 года. А книжку она сама переплела для меня и написала на ней: «В добрый путь...» Путь добрым не был. Но книжка – вот она стоит рядом с другими ею подаренными, и, открывая ее, читаю:

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем.

Но бывали у нас и не лирические и не исторические прогулки, а просто-напросто веселые.

Как-то Марина повела меня и Алю и не сказала – куда. «После узнаете!» И пока не подошла к воротам Зоопарка, я и не знал, куда она ведет нас. Зоопарк в ту пору был беден, птиц и зверей в нем – немного, и все звери – голодные. Мы забавлялись тем, что, переходя от клетки к клетке, загадывали – на кого из наших знакомых похоже то или иное животное в клетке [1; 128–130].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма А. В. Бахраху. Мокропсы, 28 августа 1923 г.: Поздно вечером.*

Только что вернулась с огромной прогулки (27 километров!) Скалы, овраги, обвалы, обломы – не то разрушенные храмы, не то разбойничьи пещеры, все это заплетено ежевикой и задушено огромными папоротниками, я стояла на всех отвесах, сидела на всех деревьях, вернулась изодранная, голодная, просквоженная ветром насквозь, – уходила свою тоску! [8; 589]

Елена Александровна Извольская:

Марина с семьей наняла в Медоне же квартиру на улице Жанны д'Арк. От меня к ней пешком не больше пятнадцати минут.

Мы много ходили с Мариной Ивановной по этим местам, подымались на террасу, бродили по улочкам и переулкам с историческими названиями. Но нас особенно тянуло в леса, которые простирались от Медона до Кламара (где жил Бердяев). То были старинные леса королевских охот, прорезанные широкими аллеями, ведущими к очищенным многими поколениями «рон-пуэн» – гладко выстриженным полянам-перепутьям. Марина очень любила эти прогулки, и я тоже ими наслаждалась. К нам часто присоединялась ныне покойная Анна Ильинична Андреева, вдова Леонида Андреева. Мы блуждали часами по лесу. Много говорили о поэзии, о поэтах. Цветаева говорила, разумеется, и о своем творчестве, но никогда при нас не рисовалась. Она цитировала чаще всего своих любимых авторов. Пушкина, которого называла просто «Александр Сергеевич», точно он был ее хорошим знакомым... Гете, Рильке, Пастернака, Блока, Мандельштама. Кроме друзей-поэтов у нее был еще друг – природа. Она была в тесном контакте с лесом, с лесными цветами, грибами, ягодами. Во время наших прогулок Марина собирала хворост, а порою и дрова для отопления квартиры. Посагательство на государственное лесное имущество было запрещено законом, но лесничие редко попадались нам на глаза. Топлива было в этих чащах сколько угодно. А для Марины это был клад, вроде пришвинского [1; 399].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до..., взобраться на...; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, – хворосту, которым топили печи [1; 145].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма А. А. Тесковой. Париж, Ванв, 26 января 1937 г.:*

К путешествию у меня отношение сложное и думаю, что я пешеход, а не путешественник. Я люблю ходьбу, дорогу под ногами – а не из окна того или иного движущегося. Еще люблю жить, а не посещать, – случайно увидеть, а не осматривать [8; 448].

В мире растений и животных

Марина Ивановна Цветаева. *Из записной книжки 1919–1920 гг.:*

Природа на меня действует несравненно сильнее (искусства. – Сост.), природа – часть меня, за небо душу отдам.

Поняла: в природе – просто отмечаю – мне дороже то, что наверху: солнце, небо, деревья – *tout ce qui plane*⁸. Чего я не люблю в природе, это подробностей: – *tout ce qui grouille*⁹, изобилия ее не люблю, землю мало люблю. (Люблю сухую, как камень, чтобы нога, как копыто.)

В природе, должно быть, я люблю ее Романтизм, ее Высокий Лад. Меня не тянет ни к огороду (подробности), ни к сажанию и выращиванию, – я не Мать – вечернее небо (апофеоз, где все мои боги!) меня опьяняет больше, чем запах весенней земли. – Вспаханная земля! – это не сводит меня с ума – непосредственно – мне надо стать другой – другим! – чтобы это полюбить. Это не родилось со мной. Когда я говорю «на ласковой земле», «на землю нежную» я вижу большие, большие деревья и людей под ними.

Это не искусственность – я же не люблю искусства! – это та моя – во всем – особенность, как в выборе людей, книг, платьев.

Вспаханная земля мне ближе Лаокоона, но оба мне – в общем – не нужны.

Вспаханная земля – это и Младенчество и Мать – умиляюсь, преклоняюсь и прохожу мимо.

Кроме того, я в природе чувствую обиду, – слишком всему и всем в ней не до меня. Я хочу, мне надо, чтобы меня любили.

Поэтому мои 2 тополя перед крыльцом мне, пожалуй, дороже больших лесов, они – волей неволей за 6 лет успели привыкнуть ко мне, отметить меня, – кто так часто на рассвете глядел на них с крыльца? <...>

Что я еще люблю в природе: это превозможение.

Опасные переходы <...> – скалы, горы, 30тиверстные прогулки, – действенность!

Чтобы все устали, а я нет! Чтобы все боялись, а я перепрыгнула! Чтобы никто ничего не нес, а я всё! И чтобы все жаловались, а я бежала! – Приключение! – Авантюру! – Казанову в природе. И не только Казанову!

В природе – в такой природе – я более, чем когда-либо – тот юный спартанец с лисенком.

Больно – трудно – ноги не идут, – нет, буду смеяться, буду бежать, возьму на себя все тяжести!

Чем труднее – тем лучше! Только тогда живу.

* * *

Ту блаженную, божественную, олимпийскую природу, где я только зритель, я д<олжно> б<ыть> не люблю *par excès de sensibilité*¹⁰ – и опустошает она меня так только потому что я ее слишком сильно чувствую, – каждое дуновение

– Как Музыка – как любовь [12; 159–161].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

⁸ Всё, что парит (*фр.*).

⁹ Всё, что кишит (*фр.*).

¹⁰ От чрезмерной чувствительности (*фр.*).

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее – горы, скалы, лес – языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела [1; 144–145].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. *St. Gilles-sur-Vie*, 8 июня 1926 г.:

Океан. Сознаю величие, но не люблю (никогда не любила моря, только раз, в первый раз – в детстве, под знаком пушкинского: «Прощай, свободная стихия!»).

Она свободная, а я на ней – связанная. Свобода моря равна только моей несвободе на нем. Что мне с морем делать? Глядеть. Мне этого мало. Плавать? Не люблю горизонтального положения. Плавать, ведь это лежать, ехать. Я люблю вертикаль: ходьбу, гору. Равнодействующую сил: высоты и моей. На Океане я зритель: в театре: полулежа: в ложе. Пляж – партер. Люблю в театре только раёк (верх), т. е. горы, которых здесь нет.

Кроме того, море либо устрашает, либо разнеживает. Море слишком похоже на любовь. Не люблю любви. (Сидеть и ждать, что она со мной сделает.) Люблю дружбу: гору... [8; 346]

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель – юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно – холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, – плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги [1; 145].

Татьяна Николаевна Астапова:

Мы в Петровско-Разумовском раннею весной (1910 г. – Сост.). С нами и Цветаева. Мы приехали на маленьком паровичке, совершавшем сюда свой путь каждые полчаса от Бутырской заставы, и здесь, среди полей и лесов, всем стало легко и радостно. Вот Цветаева ловит лягушку, подносит к близоруким глазам, внимательно рассматривает, стоящая рядом Лопатина испуганно отскакивает. Цветаеву это забавляет, ей хочется подразнить, она подходит ближе. Лопатина отмахивается руками и наконец спасается бегством. За ней легко несется Цветаева с болтающейся лягушкой на вытянутой руке. Из группы девочек раздаются упреки, призывы прекратить погоню. Я стояла поодаль и смотрела на них со стороны. Лопатина с ее визгом, искаженным от страха лицом была жалка, а бег-полет Цветаевой показался мне красивым. Ведунья! Потом Цветаева внезапно остановилась, отбросила лягушку в сторону, пошла прочь [1; 47–48].

Анастасия Ивановна Цветаева:

С 1907 по 1910 год. «...» И подоконники она устала горшками комнатных растений. Любимый ее цветок был «серолист» из семейства бегоний, листья которого усыпаны серебряным узором [16, 176].

Елена Александровна Извольская:

Привязывалась к кошкам и собакам так же страстно, как и к человеческим существам [1; 402].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

(В комнате М. Ц. в Борисоглебском переулке в Москве, на стене.) Можно было погладить висевшую на ней красиво выделанную серо-голубую шкурку, подбитую красным сукном и отороченную суконными же зубчиками. Это – шкурка маминого любимого кота Кусаки, которого она привезла крохотным котенком из Крыма, везла 3 суток, за пазухой блузки-матроски. Кусака был умный, всё понимал, как собака, и даже лучше. Он был настолько умен, что даже понимал назначение моего ночного горшочка и лучше, чем я сама, – с превеликим трудом и старанием пользовался им, цепляясь всеми четырьмя лапами за скользкие эмалированные его края. Вороватая кухарка, которую мама уволила, в отместку отравила Кусаку. Издыхающий Кусака, весь в пене, с всклокоченной, потускневшей шерстью, приполз через всю квартиру к маме – прощаться – и так и умер у нее на руках. Мама плакала навзрыд, я тоже голосила, а потом мы сели на извозчика и повезли дохлого Кусаку к скорняку. Тот предложил увековечить кота «как живого» – чтобы он вроде как бы крался за птичкой по ветке вроде как бы настоящего дерева! Несмотря на то что птичку скорняк предлагал совершенно даром, в виде премии, мама не согласилась уродовать нашего Кусаку – и вот он превратился в эту самую шкурку, висящую на стене.

(Помню, еще до всякого кухаркиного вмешательства Кусака как-то раз заболел – ветеринар выписал рецепт, который мама долго хранила как образец непрофессионального стихотворства. Рецепт кошачьей микстуры гласил:

«Каждый час по чайной ложке
Кошке –
Госпожи Эфрон».) [18; 402–403]

Марина Ивановна Цветаева. В записи О. А. Мочаловой:

Кошками не брезгаю, пускай спят на голове, как они это любят. Удивительна их манера появляться, осторожность при прохождении между вещами [1; 491].

Ольга Алексеевна Мочалова:

Как только Марина Цветаева вошла в мою комнату, она бросилась обнимать и ласкать кота Василия и кошку Зосю. Зося имела особенный успех [1; 491].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Сидим в столовой, обедаем за круглым нашим столом, собственно, только начинаем обедать – только что подали суп. Вдруг треск, короткий грохот, за ним дребезг, разверзается небо, и на стол, на самую его середину, падает наш черный пудель Джек. Все, как по команде, вскакивают, а Джек, разбрасывая лапами приборы и куски хлеба, в звоне битой посуды и катящихся по полу салфеточных колец, спрыгивает со стола и с поджатым хвостом убегает в детскую. За ним тянется след вермишели и бульона. Секунда всеобщего молчания, потом говор, хохот, смятение...

Где-то на чердаке Джек нашел лазейку, через которую выбрался на крышу, и, бегая там, угодил в потолочное окно нашей столовой. Рама подалась под его тяжестью, и Джек рухнул прямо на стол, к счастью, ничего себе не повредив и перебив сравнительно немного посуды. <...>

Джек был угольно черный, конечно, стриженный по пуделиной моде, умница и добряк [18; 409].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма Р. М. Рильке. St. Gilles-sur-Vie, 12 мая 1926 г.:*

Твоя карандашная записка (так ли это называется? нет, лучше помета!) – легкое ласковое слово: к собаке. Милый, это переносит меня в мое детство, в мои одиннадцать лет, то есть в Шварцвальд, в самую его глубь. И воспитательница (ее звали фройляйн Бринк, и она была омерзительна) говорит: «Этой дьявольской девчонке Марине можно все простить, когда она произносит: „собака!“» (Собака – от восторга и нежности и нетерпения – завывая – с тремя а-а-а. То были не породистые собаки, – уличные!)

Райнер, величайшее счастье, блаженство прижаться своим лбом к собачьему, глаза в глаза, а собака, удивленная, оторопевшая и польщенная (не каждый же день случается!), начинает ворчать. И тогда зажимаешь ей обеими руками пасть – ведь может и укусить, от одного умиления! – и целуешь. Много раз подряд [9; 60].

Наталья Викторовна Резникова:

Как сейчас вижу стол и швейную машинку, в окнах зелень и сирень. М. И. на коленях перед собакой. Прятала глаза в шерсти – я даже немного боялась. «Ты мое божество!» – и кормила собаку принесенными обрезками мяса (большой пакет) [1; 385].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма А. А. Тесковой. St. Gilles-sur-Vie, 1926 г.:*

...Ваша открытка. Взглянув, я почувствовала странное волнение. В чем дело? Деревья. Деревья, которые я не видела в Париже (фабричный район), которых не вижу здесь (один песок). Деревья, которые люблю больше всего на свете. У моря я у моря, в лесу я – в лесу: mitten drinnen¹¹. У моря я в гостях (ненавижу гостить, такой расход любезности!), в лесу я дома, одна, сама своя. Я, по чести, не люблю моря и не думаю, чтобы его можно было любить. Оно несоизмеримо больше меня, я им подавлена. И величие его – не родственное (оттого подавлена!). Всякое величие родственное, но иное величие исключает понятие родства. Таково море. Я охотно отказываюсь (м. б. неохотно, но... приходится!) от родственности в жизни, но с вещью (Ding) я роднюсь. Пусть меня не любят люди, но деревья пусть меня любят. Море меня не любит.

– Вот –

На Вашей открытке деревья явственно протягивают мне руки, и открытка больше взволновала меня, чем море (даже Океан!), в котором я в тот день купалась. В море я купаюсь, в листе я *тону* [8; 349].

Татьяна Николаевна Кванина:

В конце сентября или октября 1939 года (точно не помню) мы с мужем, писателем Н. Я. Москвиным, поехали в Голицыно, в Дом творчества. <...>

После обеда все пошли гулять. Центром всего и всех по-прежнему была Цветаева. Ходили по какой-то заросшей травой дороге, через какие-то небольшие полянки с редкими деревьями. За одним из поворотов я увидела одинокое деревце – юное, прямое, ровное. Проходя мимо, погладила его (деревья часто кажутся мне очеловеченными). Как оказалось позже, Марина Ивановна заметила, что я погладила дерево, и это (что для Марины Ивановны примечательно) положило начало нашим дружеским отношениям, если можно так назвать стеснительное преклонение с моей стороны и дружеское расположение со стороны М. Цве-

¹¹ В самой середине, внутри (нем.).

таевой, которой было свойственно приукрашивать и идеализировать людей, ей чем-то симпатичных.

В первом же ко мне письме (от 17 ноября 1940 года) Марина Ивановна пишет:

«...Это письмо идет издалека. Оно пишется уже целый год – с какой-то прогулки – с каким-то особенным деревом (круглой сосной?), по которому Вы узнавали den Weg zurück¹². Такое особенное дерево... Ну вот, Таня, если у Вас хватило Ваших больших глаз на его особенность, может быть, хватит и на мою. Что касается деревьев, я в полный серьез говорю Вам, что каждый раз, когда человек при мне отмечает: данный дуб – за прямоту, или данный клен – за роскошь, или данную иву – за плач ее, я чувствую себя польщенной, точно меня любят и хвалят, и в молодости моей вывод был скор: этот человек не может не любить меня...» <...>

Однажды <...> Марина Ивановна сразу же, как я только вошла, даже как-то торопливо – и нетерпеливо оделась, и мы вышли. Марина Ивановна так же торопливо повела меня через какие-то проходные дворы и закоулки, но довольно скоро остановилась и сказала: «Ну вот. Здесь!»

Это была узкая улица, деревянный высокий забор, ворота, с одной стороны которых была запертая калитка, с другой – встроенная в небольшую нишу скамейка. Мы сели. «Смотрите», – сказала Марина Ивановна, показав чуть вправо, на дерево, и откинулась в глубь ниши, чтобы мне было виднее. Был вечер. Горел какой-то уличный фонарь, не помню, была ли луна, но листья на дереве от освещения казались серебряными. От небольшого ветерка все это чуть вздрагивало, переливалось, блестело. Это было прекрасно!

«Ну вот», – опять повторила Марина Ивановна. В голосе ее было удовлетворение: она сделала царский подарок [1; 469–470, 474].

¹² Обратная дорога (нем.).

Жилище

1890–1900-е. Родительский дом в Москве, Трехпрудный пер., 8

Анастасия Ивановна Цветаева:

С улицы (в Трехпрудном переулке, меж Тверской и Бронной) – № 8, одноэтажный, деревянный, крашенный – сколько помню его, с 1897 года, – коричневой краской, с семью высокими окнами, воротами, над которыми склонялся разлзтый серебристый тополь, и калиткой с кольцом; нажав его, входили в немощный, летом зеленый двор; мостки вели к полосатому, красному с белым парадному, – над ним шли антресоли.

Под антресолями со стороны двора – низкие комнаты: передняя, столовая, бывшая девичья и спальня. Огибая справа заднюю сторону дома, шли мостки к ступенькам черного хода, к кухонному флигелю. Эта часть двора кончалась закоулком, заросшим желтыми акациями и тополями и упиравшимся в высокий дощатый забор, – тут колодец «домиком» с длинной рукояткой; визг ручки колодца в закоулке двора, когда воду качали, – в первые годы детства. Затем он заглох, и в жизнь нашу вступил водовоз; открывались ворота, заливалась лаем собака, громыхали колеса, плескалась вода из бочки, зимой похожей на обледенелый замок.

В маленьких сенях черного хода – пусто. Там – лишь дверка в чулан, – в чулане живут керосин и воронка. Две толстых, обитых клеенкой и ветошью двери ведут в дом.

«...» В маленьких, теплых сенцах – темно, на столике – керосинка, на ней широкая белая, эмалированная, с голубыми прожилками и с дырочками для пара кастрюля, в одном месте изогнутая «носом». От нее знакомый запах подгорелого молока. Налево от нее дверь в бывшую девичью; там – комод с отделениями для круп, кофе, чая, сахара. Далее, пройдя столик с керосинкой, – узкая маленькая дверка в коридорчик, ведущий в спальню. «...» Вплотную к ней – подножие лестницы в антресоли. Коричневая, крашенная масляной краской, дверь помещается на высоте трех ступеней, но она обычно раскрыта. Напротив нее – высокие белые двухстворчатые двери в залу. Зала – угловая пятиоконная комната, очень высокая, как и все фасадные комнаты. «...»

В зале – рояль и два зеркала между окон на улицу. Узкие, высокие, с подобием столиков-полок. По наружным стенам – филодендроны в кадках. В наружном углу – полукруглый зеленый диван; его выемка глубока и уютна. Спинка его – из трех полуovalов, пружинная, как и сиденье, окаймлена выгнутыми ободками орехового дерева; выпуклая резьба – гирлянды.

На белых с золотом обоях – высоко висит над залой портрет. Молодая женщина нежной и приветливой красоты с полуулыбкой смотрит с портрета из рамы красного дерева. Голубой шелк корсажа, роза, волна каштановых волос, удлинённый овал лица, большие карие глаза, тонкий очерк носа – что-то от оленя, от лани в пугливом? – нет, победном! – и все же застенчивом очаровании. И Андрюша, ее сын, наш старший брат, похож лицом на оленя. Это – Лёрина и Андрюшина мама. «...»

Из залы – в низкую столовую, где круглый стол и самоварный столик с желтой медной доской; окно; на стенах репродукции с картин Рафаэля – Мадонна с младенцем и Иоанн Креститель, в круглой, тяжелой черной раме, ивановское «Явление Христа народу». «...»

Другая дверь из залы ведет в переднюю; там есть что-то колдовское: правая стена ее не стена, а тонкая стенка, в которой ходит раздвижная красная (металлическая) дверь; за ней узенькая комнатка; там сундуки Лёриной мамы.

«...» Парадная дверь меж зеркалом, вешалкой и ларем вела ко второй, наружной – через ступень, о которую мы с Мусей, сколько прожили в отцовском доме, всегда спотыкались по близорукости. Эта последняя «холодная» передняя была просторна и по обе стороны имела шкафы-кладовки, где жили совсем необычайные вещи, обожаемые равно и нами и Андрюшей. «...»

Дверь из залы вела в гостиную (одно время в ней стоял и папин письменный стол; тогда следующая комната звалась «мамина гостиная»). В первой за залой комнате (зала и комнаты за ней шли анфиладой), в гостиной по углам – вогнутые белые кафельные печи. Цвет гарнитура темно-красный; ковер на полу; на столе, крытом бархатной скатертью, стоячая лампа с затейливым стеклянным абажуром, вазочка для визитных карточек. Два высоких круглых столика с пятисвечными канделябрами; в них стеариновые свечи; меж окон – полукруглое ореховое трюмо на ножках, с отодвигавшимися вбок подставочками для подсвечников. Зеркало отражало висящую с потолка люстру – свечей на двенадцать, радужные огоньки хрустальных подвесков. В углах на белых круглых колоннах-постаменты – бюсты греческих богов.

По стенам – картины в золотых рамах, главным образом мамина работа: Шильонский замок, копии пейзажей – высокие деревья, морская даль. Муся и я больше всего любили маленькую картину: синяя лунная ночь, снег, следы на снегу, вдаль – смутное очертание деревни, и на холме – волк, в профиль, на снегу его голубая тень.

Следующая комната, где стены были почти сплошь заняты рядами папиных книжных полок, снизу доверху, и маминым книжным шкафом, – была угловая, очень холодная. Сидя за своим маленьким письменным столом, мама зимами держала ноги в меховом мешке. Высоко – в раме – голова Зевса. Ниже – филин на ветке. И фасад (с колоннадой) будущего папиного Музея. «...» На стене резная овальная полка с севрским и саксонским фарфором. Низкий, пузатый пепельно-зеленоватый диванчик и тяжелые низкие мягкие кресла, сплошь покрытые тем же штофом. Ковер – во весь пол: серый, и по нему вязь желтоватых листьев.

Спальня – квадратная, низкая, в два окна, по правой стене видны молодые акации и колодец; в третье – кухонный флигель и сарай. На окнах – занавесы, темно-оливковые, с ткаными цветами и с помпонами по моде тех лет, подобранными внизу в петлю. Зимой они склоняются над морозными пальмами и хрустальной игрой холода, и уютно жить в доме!

Комод с зеркалом. Дедушкин шкаф, глубокий, низкий, шкатульчатый. В нем – кожаные картонки с папиной треуголкой (когда он в парадном мундире едет «представляться» кому-то в Петербург по делам Музея); и, как большая игрушка, папин «шапокляк» – цилиндр на пружине – выскакивает сам вверх. А потом – опять плоский! Блестит. И вот тут живет панорама с горой громоздких и легких картонок панорамных картин; в шкафу пахнет особенно: чем? Так, наверное, пахло всегда – в старину. Умывальник широкий, шкафчиком, с мраморной доской лежачей и другой – стоячей; в нем ранее был кран; сейчас умываются в фарфоровом белом с синими цветами тазу, из такого же кувшина; иногда в кувшине – льдинки. Под окном сундук; в левом углу – бабушкин комод с витыми колонками. Над ним – икона с красной лампадкой. Изголовьями ко внутренней стене сдвинутые рядом кровати упираются в поперек поставленную бабушкину кушетку, обитую оливковой узорчатой тканью. Над кроватями – бабушкин портрет в год ее смерти и маминого рождения, в ее двадцать семь лет. Она умерла еще моложе, чем Лёрина и Андрюшина мама. Темные ее глаза с тяжелыми веками мягко и печально глядят на нас.

Рядом с маминым ночным столиком – маленькая дверка; за ней – коридорчик, узкий, темный, ведущий к черному ходу. «...»

Волшебное существо – лестница! Она живет в доме не похожей ни на что жизнью... Уют широких перил с выточенными перекладинами, стоящими, как две кегли, одна на другой, с блюдечком посередине... «...»

Напротив лестницы – Лёрина квадратная комната. Она – над спальней и, как спальня, выходит двумя окнами в уголок двора, где акации и колодец, а одним – на мостик в кухню; только это глубоко внизу. Отсюда, как из Андрюшиной и наших комнат, близко видны голуби и слышно их курлыканье.

Страстно любимый Мусей Лёрин книжный шкафчик со вставленными в створки зеркала; направо – диванчик, кресло и стол. Тут Лёра рисует цветы.

В Андрюшиной комнатке – кровать, над ней портрет его мамы, в овальной раме, и столик; за ним он учится. Напротив низенькой балюстрады над лестницей еще дверь в проходную комнатку, за которой собственно детская – длинная, с тремя окнами; два – с видом на крыши домов и купол Палашевской церкви, третье, в глубине, – в серебряный тополь у ворот. Напротив окон глубоко выдается в комнату белая с синим, блестящая кафельная печь. По бокам Мусина и моя кровати, обе по той же стене, Мусина ближе к двери.

Что еще есть в детской? Не помню. Вид ее будущих лет, после мамы, затмевает мне память. Но одно цветет нерушимо: сердцем детской – висячая лампа над столом. В стеклянном резервуаре – зеленое керосиновое море. Оно мутно сияет и плещется, когда лампу тронешь рукой. Над горелкой и стеклом – белый круг, над его отверстием на потолке – золотое пятно. От горящей лампы пышет свет, жар. Лампа плавает в воздухе, как волшебная рыба. От нее убегает темнота. За вещами всюду вспыхивают их тени. Мусина рука тянется к книге – читать... [15; 40–45]

Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. Париж, Ванв, 20 января 1936 г.:

Еще в 1909 году – совсем девочкой – я писала.

Засыхали в небе изумрудном
Капли звезд – и пели петухи...
Это было в доме старом, в доме – чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном –
Превратившийся теперь в стихи!

Это я писала, еще будучи *в нем*, но уже зная, чуя...

А потом – 1919 г. – стоим с уже 6#летней Алей – перед нами:

окна залы, и видим, как на подоконниках, из глиняных мисок, чужие люди хлебают вареную воблу.

А потом – 1920 г. – стою перед ним – *и нету*. Закрываю глаза – есть, открываю – нет: одни развалины камина торчат. – Снесли на дрова, ибо был деревянный: из мачтовой строевой сосны. Было ему – около 100 лет. Его старик Иловайский (дед моих старших Halbbruder и Halbschwester¹³) дал в приданое своей дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца.

Значит – *не мой* дом, и получил его после отца в наследство брат Андрей, но любила и воспела его – я [8; 432].

1890–1900-е. Дачный дом в Тарусе

Анастасия Ивановна Цветаева:

Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей; старая скамья под огромной ивой еле видна –

¹³ Сводных брата и сестры (нем.).

так густо кругом. В высоком плетне – калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево грядки, за ними – малина, смородина и крыжовник, за домом крокетная площадка.

Две террасы (одна над другой, столбиком); балюстрада нашей детской доверху продолжена перекладинами, чтобы мы не упали. Перед террасами – площадка меж четырех тополей; между двух из них – мои детские, стульчиком, с загородками качели. А настоящие качели между четырех орешников, носящих наши четыре имени: Лёра, Андрюша, Муся и Ася.

Внизу, под дачей, – пески, Ока, луг. Позади дачи – «большая дорога» – молодым лесом выход в поле. Справа от дачи, если лицом к Оке, – «старый сад» – поляны одичалых кислейших яблок [15; 48].

1918–1921. Москва. Дом в Борисоглебском пер.

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Дом, в котором проходили мамины молодые и мои детские годы, уцелел и поныне. Это – двухэтажный с улицы и трехэтажный со двора старый дом номер 6 по Борисоглебскому переулку, недалеко от Арбата, от бывшей Поварской и бывшей Собачьей площадки. Тогда напротив дома росли два дерева – мама посвятила им стихи «Два дерева хотят друг к другу» – теперь осталось одно, осиротевшее. В квартиру № 5 этого дома мы переехали из Замоскворечья, где я родилась. Квартира была настоящая старинная московская, неудобная, путаная, нескладная, полуторазтажная и очень уютная. Две двери из передней вели – левая в какую-то ничью комнату, с которой у меня не связано никаких ранних воспоминаний, правая – в большую темную проходную столовую. Днем она скудно и странно освещалась большим окном-фонарем в потолке. Зимой фонарь этот постепенно заваливало снегом, дворник лазил на крышу и выгребал его. В столовой был большой круглый стол – прямо под фонарем; камин, на котором стояли два лисьих чучела, о которых еще речь впереди, бронзовый верблюд-часы и бюст Пушкина. У одной из стен – длинный, неудобный, черный – клеенчатый или кожаный, с высокой спинкой – диван и темный большой буфет с посудой.

Вторая дверь из столовой узким и темным коридором вела в маленькую мамину комнату и в мою большую детскую. В детской, самой светлой комнате в квартире, – три окна. Окна эти в памяти моей остались огромными, с пола до потолка, такими блестящими от чистоты, света, мелькавшего за ними снега! Недавно, войдя во двор нашего бывшего дома, убедилась в том, что на самом деле это – три подслеповатых и – тусклых оконца. Такие они маленькие и такие незрячие, что не удалось им победить, затмить в моей памяти тех, созданных детским восприятием и дополненных детским воображением!

Налево от двери стояла черная чугунная печка-колонка, отопливавшаяся углем, за ней большой и высокий, до потолка, книжный шкаф, в котором стояли детские книги моей бабушки, М. А. Мейн, мамины и мои. В самом нижнем отделении шкафа жили мои игрушки, их я могла доставать сама, а книги мне всегда доставала и давала мама. К шкафу примыкала изножьем моя кровать с сеткой, а изголовьем – к сундуку очередной няни. Ни больших столов, ни взрослых стульев в этой комнате не помню – однако, они должны были быть. Помню мягкий диван между крайним окном и дверью. Помню картины в круглых рамах – копии Греза, одна из них – девушка с птичкой. Над моей кроватью был печальный мальчик в бархатной рамке. Какие-то из этих картин – а м. б. и все они – были работы бабушки Марии Александровны. Детская была просторна, ничем не загромождена.

Выйдя из детской всё в тот же узкий темный коридорчик, проводя рукой по левой его стене, можно было нащупать дверь в мамину комнату. Это была единственная на моей памяти настоящая мамина комната – не навязанный судьбой угол, не кратковременное убе-

жище, за которое скоро нечем будет платить и которое придется сменить на другое, почти такое же, только рангом ниже и этажом выше...

Комната была небольшая, продолговатая, неправильной формы в виде буквы «Г», темноватая, т. к. окно было прорезано почти в углу короткой ее стороны – мешала смежная стена детской. Почти весь свет этого окна поглощался большим письменным столом. Справа на столе, вдоль короткой стенки закоулка, в котором помещался стол, стояли рядом книги, лежали тетради, бумаги. Среди безделушек (впрочем, «безделушки» самое неподходящее для маминого письменного стола слово! То были не безделушки, а вещи с душой и историей, далеко не случайные и не всегда красивые) – среди вещей, за которыми я, маленькая, жадно и бесполезно тянулась, была высокая, круглая, черного лака коробочка с перьями и карандашами, называвшаяся «Тучков-четвертый», потому что на ней был прелестный миниатюрный портрет этого двадцатидвухлетнего генерала, героя 1812 г. – в алом мундире и сером плаще через плечо. Очень соблазнительным было пресс-папье бабушки Марии Александровны – две маленьких металлических руки, выглядывавших из кружевных манжет, скрывавших пружину, две темных руки, цепко сжимавших пачку писем. Боязнь и любопытство вызывала странная черная фигурка Богоматери, когда-то привезенная дедом Иваном Владимировичем Цвѣтаевым из Италии. Это была средневековая Мадонна с лобастым личиком и широким разрезом невидящих глаз, величиной с ладонь, тяжелая, то ли чугунная, то ли железная. В животе фигурки открывалась двустворчатая дверка – Богоматерь оказывалась внутри полая и вся утыканная острыми шипами. – В средние века, – рассказывала мама, – в Италии была такая статуя – выше человеческого роста. В нее запирали еретиков – закрывали дверцу, и шипы пронзали их насквозь. Средние века, Италия и еретики были для меня понятиями весьма туманными, но, глядя на шипы и трогая их пальцем, я всей душой восставала против средневековой Италии и такой Божьей Матери – за еретиков!

Между столом и дверью находилось углубление, вроде ниши, задергивавшееся синей занавеской. На одной из полок лежала, завернутая в шелковый платок, белая гипсовая маска, снятая с папиного умершего от туберкулеза брата Пети. <...>

На полках было много всяких интересных вещей – морские звезды, раковины, панцирь черепахи – и стереоскоп и множество двойных фотографий к нему – Крым, мама, папа. Макс, Пра, мы с Андрюшей, еще всякие знакомые и просто виды. В стереоскопе всё выглядело настоящим, совсем живым, хоть и неподвижным.

Стена по правую сторону двери была свободна, возле нее ничего не стояло, кроме старого вольтеровского кресла, к ней можно было подходить вплотную и водить пальцем по розам светлых обоев. <...> Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукция Врубеля – помню «Пана», «Царевну-Лебедь».

На противоположной стене был большой папин портрет, написанный приятельницей моих родителей, художницей Магдой (Нахман. – *Сост.*) во время папиной болезни. Папа полулежал в кресле, с книгой в руке, ноги его были закутаны пледом. Фон портрета был ярко-оранжевым, то ли занавес, то ли условный закат...

Висел портрет над широкой и низкой тахтой, покрытой куском восточного в лилово-зеленую расплывчатую полосу шелка. <...> С потолка спускалась синяя хрустальная люстра с тихо звеневшими длинными гранеными подвесками, очень старинная и красивая. На полу, прямо под люстрой, лежала волчья шкура, казавшаяся мне по ее и моей величине медвежьей. <...>

От изголовья тахты до стены с Кусачьей шкуркой все пространство занимал огромный старинный секретер, из которого мама иногда доставала музыкальную шкатулку, довольно тяжелую, темного дерева с инкрустациями. Она играла несколько грустных, медленных пьесок, отчетливо выговаривая мелодию. <...> Помимо музыкальной шкатулки у мамы была еще и настоящая старая шарманка, купленная у настоящего старого шарманщика. И мама, и папа,

и их молодые гости с увлечением крутили ручку шарманки, игравшей с хрипом и неожиданными синкопами «Разлуку».

Для того чтобы попасть на второй этаж квартиры, нужно было проделать весь путь обратно, через темный коридор в столовую, оттуда в переднюю, и, попав в другой коридор, подняться по довольно высокой и крутой лесенке. Лесенка оканчивалась площадкой, хорошо освещенной окном; на нее выходили двери большой кухни, куда мне, маленькой, ход был запрещен, ванной, чулана и уборной. Еще один, последний, коридорчик вел мимо маленькой комнаты (где всего только и умещалось, что кровать с ничем не покрытым матрасом, стол, стул и бельевой шкаф) в папину большую и не очень светлую, т. к. часть ее тоже кончалась каким-то закоулком; папину комнату я помню не очень отчетливо [18; 400–402].

Медон. Пригород Парижа

Николай Артемьевич Еленев:

Две кровати у стены, изголовье к изголовью. На бесцветных стенах ни одной картины, ни одной фотографии. Неряшливый деревянный стол, неубранная посуда. Табачный дым. И в нем тусклая электрическая лампочка [1; 273].

Мария Сергеевна Булгакова (во втором браке *Степуржинская*; 1898–1979), жена *К. Б. Родзевича*, дочь *о. Сергия Булгакова*. В записи *В. Лосской*:

У нее всегда все было выворочено, но в Медоне было лучше всего: одно время три комнаты с кухней и ванной. Только Марина сама ничего не умела делать. Почему-то в одной из квартир, в середине ее комнаты стояла огромная «poubelle»¹⁴ [5; 121].

Саломея Николаевна Андроникова-Гальперн (1888–1982), меценатка, знаменитая «петербургская красавица» Серебряного века, близкая знакомая многих известных русских поэтов и художников. В 1919 г. покинула Россию, жила в Париже, в начале 1937 г. переехала в Лондон. В записи *В. Лосской*:

В доме у них грязь была ужасная, вонь и повсюду окурки. Среди комнаты стоял громадный мусорный ящик [5; 121].

1934–1938. 26, rue J. B. Potin. Ванв. Пригород Парижа

Вадим Леонидович Андреев:

Она жила за городом, на границе Кламара и Малакова, в большом доме с полуобвалившимися лестницами, выбитыми окнами, таинственными закоулками, в доме, который мог бы символизировать нищету рабочего пригорода [3; 176].

Вера Леонидовна Андреева:

Квартирка у Марины Цветаевой была, без преувеличения, нищенской. Деревянная мрачная лестница, какие-то две темные комнатухи, темная кухня со скошенным потолком в чаду арахисового масла, на котором всегда что-то жарилось [1; 366].

1939. В Голицыно. Под Москвой

Татьяна Николаевна Кванина:

¹⁴ Помойное ведро (*фр.*).

Комната ее поразила нас хаотическим беспорядком: все лежало вперемешку. Но и тут, в Голицыне, и особенно в Москве, скоро стало понятно, что в этом беспорядке есть свой порядок и смысл. Марина Ивановна прекрасно помнила, где что лежит, не тратила ни секунды, доставая нужное. А лежало все сверху, как я поняла, потому, что Марина Ивановна не желала тратить времени на открывание и закрывание ящиков и шкафов, на запоминание, что где: тут все было на виду [1; 470].

1941. Москва. Покровский бульвар, 14

Ида Брониславовна Игнатова:

Комната Марины Ивановны имела 14 кв. м, несколько продолговатая. Стены до потолка были окрашены масляной краской абрикосового цвета. Раньше в ней находились я и моя младшая сестра.

Однажды М. И. пригласила меня зачем-то к себе. Я вошла и очень смешалась. Продолговатая комната стала узким тоннелем. Вдоль обеих стен стояли запакованные тюки, оставляя узкий проход к окну, где стоял письменный стол. На нем вперемешку с книгами, бумагами, неизменным кофейником и папиросами лежали сковорода, немытая посуда и почему-то туфель. Вдоль комнаты была протянута бельевая веревка [4; 157].

Нина Павловна Гордон. Из письма А. С. Эфрон. 1961 г.:

Помню, как я пришла в начале зимы 41#го года к Марине вечером домой на Покровский бульвар. Большой домина, двор – колодец. Жила она то ли на шестом, то ли на седьмом этаже. Небольшая двух– или трехкомнатная квартира, у Марины Ивановны вместе с Муром комнатка метров 12–13. Я эту комнату помню отлично: одно окно, вдоль окна вплотную простой продолговатый деревянный стол. Рядом с ним впритык кровать Марины, вернее, не кровать, а топчан с матрасом, или же два составленные рядом кофра, на них – матрац, а сверху плед. Во всяком случае, жесткое и неудобное ложе. Я сидела на нем и чувствовала, как жестко. Комната неприбранная, масса наброшенных вещей: через всю комнату и над столом – веревки с висющими на них тряпками из мохнатых полотенец и просто полотенца. На столе в беспорядке еда и посуда – чистая и грязная, книги, карандаши, бумага – как бывает на столах, за которыми и едят и работают. Под потолком – тусклая, желтоватая, неудобная лампочка без абажура. С другой стороны стола кровать Мура. Один или два стула, чемоданы. Что-то шкафа я не припомню, может быть, был в стене, но помню хорошо, что на стене, около топчана Марины – под простыней платья и пальто; также и на другой стене около кровати Мура [1; 445–446].

Жена

Александр Александрович Туринцев (1896–1984), поэт, критик, участник евразийских изданий. Позднее – протоиерей, настоятель Патриаршего Трехсвятительского подворья в Париже:

О Сереже никогда не говорила «муж» – говорила о нем: «Сергей Эфрон»... [5; 77]

Елизавета Павловна Кривошапкина:

Они говорили друг другу «вы» [1; 78].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма С. Я. Эфрону. Москва, 27 русск^{ого} февраля 1921 г.:

Мой Сереженька!

Если Вы живы – я спасена.

18го января было три года, как мы расстались. 5го мая будет десять лет, как мы встретились.

– Десять лет тому назад. –

Але уже восемь лет, Сереженька!

– Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы – и лбом – руками – грудью отталкиваю то, другое. – Не смею. – Вот все мои мысли о Вас.

Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. – Это страшно. –

Если Богу нужно от меня покорности, – есть, смирения – есть – перед всем и каждым! – но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь – жизнь, разве ему «недописано»

А прощать Богу чужую муку – гибель – страдания, – я до этой низости, до этого неслыханного беззакония никогда не дойду. – Другому больно, а я прощаю! Если хочешь поразить меня, рази – *меня* – в грудь!

Мне трудно Вам писать.

Быт, – всё это такие пустяки! Мне надо знать одно – что Вы живы.

А если Вы живы, я ни о чем не могу говорить: лбом в снег!

Мне трудно Вам писать, но буду, п. ч. 1/1 000 000 доля надежды: а вдруг?! Бывают же чудеса! –

Ведь было же 5ое мая 1911 г. – солнечный день – когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: «– Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого – стыдно ходить по земле!»

Это была моя точная мысль, я помню.

– Сереженька, умру ли я завтра или до 70 л^{ет} проживу – всё равно – я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту: – Навек. – Никого другого.

– Я столько людей перевидала, во столько судьбах перегостила, – нет на земле второго Вас, это для меня роковое.

Да я и не хочу никого другого, мне от всех безразлично и холодно, только моя легко взволнованная играющая поверхностью радуется людям, голосам, глазам, словам. Всё трогает, ничто не пронзает, я от всего мира заграждена – Вами.

Я просто НЕ МОГУ никого любить!

Если Вы живы – тот кто постарается доставить Вам это письмо – напишет Вам о моей внешней жизни. – Я не могу. – Не до этого и не в этом дело.

Если Вы живы – это такое *страшное* чудо, что ни одно слово не достойно быть произнесенным, – надо что-то другое.

Но, чтобы Вы не слышали горестной вести из равн^одушных уст, – Сереженька, в прошлом году, в Сретение, умерла Ирина. Болели обе, Алё я *смогла* спасти, Ирину – нет.

С^ереженька, если Вы живы, мы встретимся, у нас будет сын. Сделайте как я: *НЕ* помните.

Не для В^ашего и не для св^оего утешения – а как простую правду скажу: И^ирина была очень странным, а м^ожет б^ыть вовсе безнадеж^ным ребенком, – все время качалась, почти не говорила, – м^ожет б^ыть рахит, м. б. – вырождение, – не знаю.

Конечно, не будь Революции –

Но – не будь Революции –

Не принимайте моего отношения за бессердечие. Это – просто – возможность жить. Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но – самое ужасное – сны. Когда я вижу ее во сне – кудрявую голову и обмызганное длинное платье – о, тогда, Сереженька, – нет утешенья, кроме смерти.

Но мысль: а вдруг С^ережа жив?

И – как ударом крыла – ввысь!

Вы и Алё – и еще Ася – вот всё, что у меня за душою.

Если Вы живы, Вы скоро будете читать мои стихи, из них многое поймете. О, Господи, знать, что Вы прочтете эту книгу, – что бы я дала за это? – Жизнь? – Но это такой пустяк – на колесе бы смеялась!

Эта книга для меня священная, это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. – Это не КНИГА. –

<...>

Пишу Вам в глубокий час ночи, после трудного трудового дня, весь день переписывала книгу, – для Вас, Сереженька! Вся она – письмо к Вам.

Вот уже три дня, как не разгибаю спины. – Последнее, что я знаю о Вас: от Аси, что в начале мая было письмо к М^аксу. Дальше – темь...

– Ну –

– Сереженька! – Если Вы живы, буду жить во что бы то ни стало, а если Вас нет – лучше бы я никогда не родилась!

Не пишу: целую, я вся уже в Вас – так, что у меня уже нет ни глаз, ни губ, ни рук, – ничего, кроме дыхания и биения сердца [13; 282–284].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Издавна и нежно повелось – Марина звала Сережу Львом, Лёве, он ее – Рысью, Рысистой; сказочные эти клички вошли в домашний, семейный наш обиход, привычно подменяя подлинные имена, и так – до самого конца жизни. Маринины тетради испещрены Сережинными «львиными» рисунками; уходя, а чаще всего – убегая («утапатывая», как говорил Лев из сказки) – в университет ли, по бесчисленным ли делам, Сережа набрасывал силуэт Льва: благодарного, пообедавшего, с толстым пузом, или – привычно-тощего, вскакивающего в последний вагон уходящего поезда; Льва, плачущего крупными слезами или смеющегося во всю пасть – чтобы Марина, раскрыв тетрадь, улыбнулась ему вслед, принимаясь за работу...

Марина же часто подписывала свои письма к Сереже и ко мне заглавной буквой «Р» и рисовала – в виде росчерка – длиннохвостую дикую кошку или только ухо ее, с кисточкой, – чуткое ухо Рыси... [1; 228]

Марк Львович Слоним. В записи В. Лосской:

Марина Ивановна мужа очень любила. Любовь эта была сложной. Это была любовь женщины к долголетнему спутнику жизни. У нее было также некое материнское покровительство, чувство, что она должна работать за него и для него [5; 162].

Марк Львович Слоним:

МИ не только воспитывала детей, варила, стирала, убирала, но и зарабатывала – ее гонорары занимали главное место в бюджете семьи. Она все это принимала, о Сергее Яковлевиче заботилась, как о больном ребенке, ему безраздельно доверяла, видела вокруг его головы ореол идейной прямооты и честности. Эта вера так ее ослепляла, что, живя бок о бок с мужем, она и не подозревала, как далеко он зашел не только в политических взглядах, но и в своих тайных действиях [1; 340].

Константин Болеславович Родзевич. В записи В. Лосской:

С Сергеем Яковлевичем у Марины были отношения отвлеченные (где-то она об этом говорит); в ее отношении к нему было и материнское чувство, и дружба. Чувство долга? Нет, у нее не было никакого сознания, что существует ее долг как жены. У нее было к нему скорее большое дружеское чувство, она высоко его ценила. Но он был для нее слаб. Она не разлюбила его, просто она с ним не была связана ни страстью, ни долгом, ни бытовой зависимостью (в этом плане, наоборот, был полный беспорядок). В сущности, она же от него и ушла. В последнее время они уже не жили вместе – поэтому между ними не произошло ни сентиментального, ни бытового разрыва. Они просто оказались врозь.

Каждый жил своей жизнью, не разрывая полностью с другим, но и не понимая его.

Сергей Яковлевич, вероятно, знал об увлечениях Марины и допускал их... во всяком случае, не боролся против. Была некая путаница в их жизни. У Сергея Яковлевича были некоторые связи и увлечения, но небольшого размаха. И он никогда не разлюбил Марину. Он в ее жизнь не вмешивался, отчасти из доблести, отчасти по слабости.

Вообще между Мариной и Сережей отношения были очень отвлеченные, без физической близости. При всей своей духовной чистоте и даже уме и благородстве, он был слаб, в плане бытовом, и мирился с этим. И это его нежелание мешать Марине обратилось в полное нежелание и даже невозможность помочь ей. А физическая любовь в отношениях Марины и Сергея Яковлевича не играла никакой роли [5; 89].

Марк Львович Слоним. В записи В. Лосской:

Она была ему верна всегда, даже когда была неверна физически [5; 162].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. С. Эфрон. «В Севжелдорлаг.» Москва, 18 мая 1941 г., воскресенье:

Дорогая Аля! Сегодня – тридцать лет назад – мы встретились с папой: 5го мая 1911 г. Я купила желтых цветов – вроде кувшинок – и вынула из сундучных дебрей его карточку, к«отор»ую сама снимала, когда тебе было лет четырнадцать – и потом пошла к Лиле, и она конечно не помнила. А я всё годы помнила, и, кажется, всегда одна, п. ч. папа всё даты помнит, но как-то по-своему [13; 426].

Мать

Вадим Леонидович Андреев:

М. И. всегда была матерью страстной до болезненности [3; 172].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Маринино влияние на меня, маленькую, было огромно, никем и ничем не перебиваемое и – всегда в зените. Между тем времени со мной она проводила не так уж много, гуляла не так уж часто, ни в чем не потакала, не баловала; всем этим в той или иной мере занимались няни, не оставившие в памяти надежного следа, может быть оттого, что, не приживаясь к дому, часто сменялись. <...>

К ней и за ней я постоянно тянулась, подобно подсолнечнику, и ее присутствие постоянно ощущала внутри себя, подобно голосу совести, – столь велика была излучавшаяся ею убеждающая, требовательная, подчиняющая сила. Сила любви.

В ребенке, которым я была, Марина стремилась развивать с колыбели присущие ей самой качества: способность преодолевать трудное и – самостоятельность мыслей и действий. Рассказывала и объясняла не по поверхности, а чаще всего – глубже детского разума, чтобы младший своим умом доходил до заданного, а может быть, это заданное и опережал; приучала излагать – связно и внятно – увиденное, услышанное, пережитое – или придуманное. Никогда не опускалась до уровня ребенка, а неустанно как бы приподнимая его, чтобы встретиться с ним на той крайней точке, на которой сходятся взрослая мудрость с детской первозданностью, личность взрослого с личностью маленького.

Наградой за хорошее поведение, за что-то выполненное и преодоленное были не сладости и подарки, а прочитанная вслух сказка, совместная прогулка или приглашение «погостить» в ее комнате. Забегать туда «просто так» не разрешалось. В многоугольную, как бы граненую, комнату эту, с волшебной елизаветинской люстрой под потолком, с волчьей – немного пугающей, но манящей – шкурой у низкого дивана, я входила с холодком робости и радости в груди... Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах «Корсиканского жасмина», шелковый шорох платья и то, как сама она, по неутраченной еще детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу – реже в кресле или на диване, – поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и ее чтение вслух – сказок, баллад Лермонтова, Жуковского... Я быстро вытверживала их наизусть и, кажется, понимала; правда, лет до шести, произнося «не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят», думала, что флюгеране – это такой беспокойный народец, снующий среди парусов и преданный императору; таинственной прелести балладе это не убавляло.

Марина позволяла посидеть и за ее письменным столом, втиснутым в простенок у маленького углового окна, за которым всегда ворковали голуби, порисовать ее карандашами и иногда даже в ее тетрадке, почтительно полюбоваться портретами Сары Бернар и Марии Башкирцевой, потрогать пресс-папье – «Нюрнбергскую деву», страшную чугунную фигурку с шипами внутри, привезенную когда-то дедом из Германии, и чугунного же «царя Алексея Михайловича»; скрепку для бумаг в виде двух ладоней – пальцы были совсем как настоящие и цепко держали записи и счета; лаковую карандашницу с портретом юного генерала 1812 года Тучкова IV; глиняную, посеребренную птицу Сириин.

Из пузатого секретера доставалась большая книга в красном переплете – сказки Перро с иллюстрациями Доре, принадлежавшая еще Марининой матери, когда она была «такой же маленькой, как ты». Я рассматривала картинки, осторожно, только что вымытыми руками, переворачивая страницы с верхнего правого угла; ничто так не возмущало

Марину, как небрежное, неуважительное отношение к книгам; когда я нечаянно разбила одну из двух ее любимых чашек старинного фарфора, – к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: «Я разбила его жену! теперь он овдовел!» – меня не только не ругали, но еще и утешали, а вот за какого-то «Степку-Растрепку», разорванного, потому что он был противный, всклокоченный урод, «такой же, как ты, когда не хочешь мыться и причесываться», пришлось-таки постоять в углу, мрачно колупая известку... Можно было смотреть картинки и в однотомнике Гоголя (приложение к журналу «Нива»). Там все было нарисовано подробно, мелко и еще не очень мне доступно. <...>

Когда впервые Марина повела меня в цирк, я вначале не знала, куда смотреть, всё таращилась на ложи осветителей, сочувствуя людям, там находившимся, и боясь за них; мне почему-то казалось, что в ложи эти можно забраться только снаружи, по приставным лестницам, а это – страшно и опасно; как нам повезло, что мы – здесь сидим! Марина поворачивала мое лицо – обеими руками – к арене: смотри! – но меня всё манили осветители <...>.

Но вот забегали, запрыгали, закувыркались странные, одетые – одни в удивительные балахоны с елочными блестками, другие – в куцые жилетки и непомерные шаровары, существа с размазанными лицами; они что-то выкрикивали резкими укусными голосами и всем – размашистыми движениями, нескладными и вместе с тем ловкими прыжками, внезапно возникавшими драками и бурными примирениями – напоминали тех самых «уличных детей», игры которых я, «хорошая девочка», могла разделять только в воображении, глядя на них в окно! Клоуны! Клоуны! Они оказались куда интереснее уличных мальчишек, потому что – смешные! Те прыгали и дрались «просто так», а эти каждым своим движением, толчком, скачком, пинком, подножкой, каждой на весь цирк звучащей пощечиной вызывали смех; кроме того, с ними все время что-то случалось: то падали штаны, то лопались жилеты, то вырастали рукава, то улетали шляпы, то разбухали животы и зады; из-под них уходили стулья! Под ногами разверзлась земля!

Сперва, вникая, я заулыбалась, потом стала смеяться и, наконец, закатилась в голос, как все. – Все, но не Марина.

Ладонями, ставшими железными, она отвернула мое лицо от арены и тихо, яростно отчеканила: «Слушай и помни: всякий, кто смеется над бедой другого, – дурак или негодяй; чаще всего – и то, и другое. Когда человек попадает впросак – это не смешно; когда человека обливают помоями – это не смешно; когда человеку подставляют подножку – это не смешно; когда человек теряет штаны – это не смешно; когда человека бьют по лицу – это подло. Такой смех – грех».

Это я усвоила сразу и осознала на всю жизнь, как, впоследствии, и то, что к клоунам, как таковым, материнское замечание не относилось. <...>

Марина не терпела ничего облегченного. Так, когда знакомые дарили мне альбомы для раскрашивания, она убирала их: «Сама нарисуй, тогда и раскрашивай; кто разрисовывает, или срисовывает, или списывает – чужое, тот обирает самого себя и никогда ничему не научится!»

Когда случайно выяснилось, что буквы я уже знаю, она стала учить меня читать слова, не разбивая их на слоги, а – сразу все слово целиком, сперва осознанное «про себя», потом произносимое вслух. Перо, вложенное ею в мои пальцы, никогда не выводило палочек и крючочков, предваряющих начертание букв, и не воспроизводило печатных прописей между двумя, механически организующими почерк, линейками, слова из букв и фразы из слов я должна была строить сама, и по одной линейке. Таким образом, мне постоянно приходилось думать о том, что я делаю – и как. Пассивное копиистическое начало из Мариного преподавания было изгнано раз и навсегда, замененное творческим. Вместо нудных примеров сразу же, с места в карьер, писались изложения, сочинения; обычно безликие,

ученические тетради превращались в дневники; грамматика свелась к минимуму необходимых и, как всё насущное, несложных правил. Вместо способности вызубривать наизусть развивалась сама память, в первую очередь зрительная, и та самая наблюдательность, которой большинство детей так щедро наделены и которую так быстро утрачивают...

Смело выкинув из педагогической цепи промежуточные звенья, Марина выучила меня читать – бегло и достаточно осмысленно – к четырем годам, писать – к пяти, а вести дневниковые записи – более или менее связно и вполне (по старому правописанию) грамотно – к шести-семи годам [1; 154–159].

Марина Ивановна Цветаева:

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застёжками! И какой танцмейстер! [12; 37]

Ариадна Сергеевна Эфрон. Из письма П. Г. Антокольскому. 24 ноября 1962 г.:

Господи, какое же у меня было счастливое детство, и как мама научила меня видеть... [17; 273]

Александр Александрович Туринцев. В записи В. Лосской:

С Алей она говорила обо всем. Рассказывала ей про любовников и про всю свою жизнь. Но ее критиковать нельзя было. Какая выпренность отношений! Высказывания, стихи в 7 лет и так далее... У Марины по-настоящему не было острого материнского чувства ни к сыну, ни к дочери. Она искала и хотела создать ту душу, которая ее поймет и разделит ее чувства до конца. Не нашла она этого в дочери: она дочерью владела до 11–12 лет, потом Аля стала созревать и послала ее к черту, а до этого Аля была ее подругой [5; 141].

Ариадна Сергеевна Эфрон. В записи В. Лосской:

Меня она то любила, то разлюбляла... Никогда не было простых отношений: мать – дочь... Материнство ее всегда выливалось преувеличенно, на кого-нибудь другого <...>. Когда я была маленькой, я была вундеркиндом. Когда я стала взрослой, она продолжала относиться ко мне, как к маленькой. <...> И было всегда не просто мама и дочка, а всё в иных плоскостях, трудности, когда я выросла [5; 139].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма Н. Вундерли-Фолькарт:

Когда мой ребенок умер в России от голода и я узнала об этом – просто на улице от незнакомого человека (– Маленькая Ирина Ваша дочка? – Да. – Она умерла. Вчера умерла. Завтра мы ее будем хоронить.), я молчала три месяца – ни слова о смерти – никому – чтобы он не умирал окончательно, еще (во мне) – жил¹⁵ [10; 425–426].

Марина Ивановна Цветаева. Из записей 1925 г., вскоре после рождения сына Георгия (Мура):

Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какую-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы я жалела за другое и по-другому. Больше всего бы жалела детей, значит – в человеческом – больше всего – мать.

Аля бы меня никогда не забыла, мальчик бы меня никогда не вспомнил. <...>

Буду любить его – каким бы он ни был: не за красоту, не за дарование, не за сходство, за то, что он *есть*. М. б. это самая большая любовь моей жизни? Может быть – счастливая любовь? (Такой не знаю. Любовь для меня – беда.) <...>

¹⁵ В переводе с немецкого.

Мальчиков нужно баловать, – им, может быть, на войну придется [10; 345].

Галина Семеновна Родионова:

Марина не просто его любила, она его обожала трогательным глубоким обожанием. Объектом всех забот и волнений ее такой трудной жизни был Мур [1; 422].

Елена Александровна Извольская:

Он был мальчиком очень умным, но избалованным донельзя, непослушным, просто буйным. Рос он богатырем, мог бы стать Ильей Муромцем, но скорее превратился в Соловья Разбойника. Он был огромного для своих лет роста, широкоплеч, кудряв. У матери Мур научился дивному русскому языку. Он держал мать за руку, вернее, она его. Он рвался из этой «мертвой хватки». «Мама, – кричал он, – можно мне на волю?» При слове «воля» Марина отпускала сына, он убежал в чащу, и ее близорукие глаза тревожно его искали [1; 399–400].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма Р. Н. Ломоносовой. Париж, 1 февраля 1930 г.:*

Как грустно Вы пишете о сыне: «Совсем большой. Скоро женится – уйдет». Моему нынче – как раз 5 лет. Думаю об этом с его, а м. б. с до – его рожденья. Его жену конечно буду ненавидеть. Потому что она не я. (Не обратно.)

Мне уже сейчас грустно, что ему пять лет, а не четыре. Мур, удивленно: «Мама! Да ведь я такой же! Я же не изменился!» – «В том-то и... *Всё* будешь такой же, и вдруг – 20 лет. Прощай, Мур!» – «Мама! Я никогда не женюсь, потому что жена – глупость. Вы же знаете, что я женюсь на тракторе». (NB! Утешил!) [9; 317]

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма А. А. Тесковой. Париж, Медон, 8 октября 1931 г.:*

Мур растет, – 6 лет 8 месяцев», переменял четыре зуба, а если не похудел, так постройнел, мне почти по плечо. Нрав скорее трудный, – от избытка сил все время в движении, громкий голос, страсть к простору – которого нет. Дети, а особенно такие дети, должны расти на воле. Французские дети ученьем замучены: от 8 1/2 ч. до 12 ч., перерыв на 1 ч. и опять до 4 ч. – когда же жить, играть, гулять? Дома уроки и сон, ни на что не остается. Ребенок до 10 лет должен был бы учиться три часа в день, а остальное время – расти. Согласны? Потому до сих пор не могу решиться отдать его в школу, ибо все школы таковы, утренних нет. Это моя большая забота, ибо растет без товарищей, которых страстно любит [8; 397].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма В. Н. Буниной. Клармар, 5 октября 1933 г.:*

Сын поступил в школу, значит и я поступила. Целый день, по идиотскому методу французской школы, отвожу и привожу, а в перерыве учу с ним наизусть, от чего оба тупеем, ибо оба не дураки. Священную Историю и географию, их пресловутые «résumé», т. е. объединенные скелеты. (Мур: «Так коротко рассказывать, как Бог создал мир, по-моему, непочтительно: выходит – не только не „six jours“¹⁶, а „six secondes“¹⁷. Французы, мама, даже когда верят – НАСТОЯЩИЕ безбожники!» – 8 лет.)

С тоской и благодарностью вспоминаю *наши* гимназии со «своими словами» («Расскажите своими словами»). И, вообще, человеческие – для человека. У нас могли быть плохие учителя, у нас не было плохих методов [9; 256–257].

¹⁶ Шесть дней (фр.).

¹⁷ Шесть секунд (фр.).

Вадим Леонидович Андреев:

М. И. на газовой плите жарила котлеты. По количеству котлет я было подумал, что она ждет гостей, но мы сели обедать втроем – М. И., ее сын Мур и я. Муру в то время было 14 лет, но выглядел он двадцатилетним парнем, огромный, толстый, странная антитеза всего облика М. И. За обедом почти все котлеты были уничтожены Муром [3; 176].

Софья Ивановна Липеровская (урожд. Юркевич; 1892–1973), гимназическая подруга М. И. Цветаевой, педагог, автор ряда книг по русской литературе для школьников и учителей:

Мур произвел на нас впечатление любознательного, умного подростка – ему было тогда 14 лет. Неприятно поразил нас только его небрежный, резкий тон в обращении с матерью, желание показать свою независимость, отмежеваться от ее взглядов.

Марина мучительно переживала мысль о том, что она служит помехой в жизни сына, мешает ему стать равноправным членом союза молодежи. <...>

В голосе Марины, в ее обращении к Муру можно было угадать глубокую материнскую любовь, дружеское участие, готовность все понять, простить, быть вместе с ним.

«Молодежь должна отстаивать свои права, ей принадлежит будущее. Они будут строить новую жизнь», – говорила Марина [1; 41].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Когда Марина погибла, на кухне стояла сковородка с жареной рыбой: должно быть, для Мура [15; 721].

Поэт и быт

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма В. Ф. Булгакову. Париж, 2 января 1926 г.:*

Быт, это непреображенная вещественность. До этой формулы, наконец, добралась, ненависть довела.

Но как же поэт, преображающий все?.. Нет, не все, – только то, что любит. А любит – не все. Так, дневная суета, например, которую ненавижу, для меня – быт. Для другого – поэзия. И ходьба куда-нибудь на край света (который обожаю!), под дождем (который обожаю!) для меня поэзия. Для другого – быт. Быта самого по себе нет. Он возникает только с нашей ненавистью. Итак, вещественность, которую ненавидишь, – быт. Быт: *ненавидимая видимость* [9; 9–10].

Ариадна Сергеевна Эфрон. *Из письма М. С. Булгаковой. 1968 г.:*

Мама не любила хозяйства, так как оно прожорливо – пожирает время, не оставляя ничего взамен, ничего существенного, тем более – вечного: еда съедается и требуется новая; чистая посуда вновь требует мытья; белье – стирки, чулки – штопки и т. д. Но умела делать мама все необходимое, и это необходимое делала, всегда преодолевая внутреннее сопротивление этой трате времени. Она топила наши *poêle-godîns*¹⁸, готовила еду (примус – вечный спутник наших поездок), стирала. <...>

В одном из стихотворений цикла «Стол» мама говорит о том, что «счетом ложек Создателю – не воздашь», и таково было ее глубокое внутреннее отношение к быту – *библейское* отношение! Ибо в Евангельской притче говорится о том, что талант в землю зарывать нельзя. И она всегда знала, что с *нее* Создатель спросит не «счет ложек», а главное: что она сделала с ей данным, с ей заданным. А к заданному тот же Создатель навесил нищету, трудный быт и вообще *всегда* трудную долю: замужней женщины, матери [5; 174–175].

Эмилий Львович Миндлин:

Вероятно, царица (если б своенравность судьбы заставила царицу стирать) стирала бы, как она, не наклоняясь над тазом с въедливой мыльной пеной и ни в малость не унижаясь нецарским трудом. Она оставалась равной себе – и выше всякой возможности унижения. Она не стирала – рубашка сама простирывалась в мыльной теплой воде, а Цветаева только присутствовала. Не по-женски она пришивала пуговицы и не по-женски вдевала в игольное ушко драгоценную в бедное время нитку. Ей надобно было только повелеть послушной иголке с ниткой, чтоб иголка не баловала, чтоб шила себе, как сказано, задано, велено ей Мариной.

Так же и оладьи на сковородке – сами собой пеклись, а она только присутствовала, надзирала, чтобы они сами собой пеклись [1; 115].

Екатерина Николаевна Рейтлингер-Кист:

В быту – абсолютная неустроенность и неумение одолеть «быт» выражалась в неопишемом хаосе комнат, в которых жила. (Только тетради и стол были священные.) Но эта неустроенность и грязь (при моих поездках к ним) как-то совершенно нас не касались. Мы общались «в другом плане» – полноценно и для меня так интересно.

Мне даже казалось нелепым и несправедливым, что Марина должна была все же что-то готовить и мыть. (Были и комичные случаи несъедобности того, что приготовила.) [1; 288]

¹⁸ Маленькая печка (фр.).

Вадим Леонидович Андреев:

Страстность матери, забота о хлебе насущном (не для себя, конечно, но для детей) приковывали ее к плите – почти целые дни проводила она на кухне, всегда в аккуратном переднике, и здесь же, на кухне, поджаривая котлеты и варя кашу, М. И. читала стихи. В эти минуты все окружающие ее предметы бывали для нее остро враждебны: плита, обжигающая ее, сковорода, с ее чадом и шипеньем, – она сражалась с ними. Иногда, устав от безнадёжности этой борьбы, она искала отдыха в юморе, в игре [3; 172–173].

Зинаида Алексеевна Шаховская:

Вижу Марину Цветаеву в ее нищенской квартире в предместье Парижа, Ванв. Стоим на кухне. Марина Цветаева почему-то варит яйца в маленькой кастрюльке и говорит мне о Райнер Марии Рильке. Я, зачарованно, слушая неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла. И обыденность, конечно, сразу отомстила за презренье к ней: вода в кастрюльке выкипела до дна, яйца не сварились, а спеклись и лопнули, алюминий же прогорел... [1; 425]

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма А. А. Тесковой. Париж, Медон, 12 декабря 1927 г.:*

...Скоро Рождество. Я, по правде сказать, так загнана жизнью, что ничего не чувствую. У меня – за годы и годы (1917–1927 гг.) – отупел не ум, а душа. Удивительное наблюдение: именно на чувства нужно время, а не на мысль. Мысль – молния, чувство – луч самой дальней звезды. Чувству нужен досуг, оно не живет под страхом. Простой пример: обваливая 1 1/2 кило мелких рыб в муке, я могу думать, но чувствовать – нет: запах мешает! Запах мешает, клейкие руки мешают, брызжущее масло мешает, рыба мешает: каждая в отдельности и все 1 1/2 кило вместе. Чувство, очевидно, более требовательно, чем мысль. Либо всё, либо ничего. Я своему не могу дать ничего: ни времени, ни тишины, ни уединения: я всегда на людях: с 7 ч. утра до 10 ч. вечера, а к 10#ти ч. так устаю, что – какое чувствовать! Чувство требует силы. Нет, просто сажусь за штопку вещей: Муриных, С. Я., Алиных, своих – 11 ч., 12 ч., 1 ч. – С. Я. приезжает с последним поездом, короткая беседа – и спать, т. е. лежать с книгой до 2 ч., 2 1/2 ч. – хорошие книги, но я бы еще лучше писала, если бы –

Виновата (виновных нет) м. б. и я сама: меня кроме природы, т. е. души, и души, т. е. природы – ничто не трогает, ни общественность, ни техника, ни – ни – Поэтому никуда не езжу: ску-учно! Профессор читает, а я считаю: минуты до конца. – К чему? [8; 362]

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма Р. Н. Ломоносовой. Париж, 4 декабря 1930 г.:*

У нас первые морозные дни, совпавшие с первыми рождественскими витринами. Нынче я целый день провела в Париже, в погоне – угадайте за чем? – частью центрального отопления, а именно ручки для протрясения пепла, без которой надо ежечасно печь выгребать руками, что я уже и делаю целый месяц. Ручка эта, оказывается, называется ключом (хотя ничего не открывает), а ключа этого нигде нету. Вот я и пропутешествовала из одного «Grand magasin» в другой, с тем же припевом [9; 325–326].

Вера Леонидовна Андреева:

Много раз я встречала Марину Ивановну с базарной сумкой, погруженную в невеселые хозяйственные заботы, прикидывающую в уме, не дешевле ли будет купить на рынке вместо второсортного мяса вот эту, давно уснувшую сельдь? Она всматривалась в тусклые рыбы глаза, заглядывала под темные жабры, – не особенно свежей была эта рыба, прогорклый чад от жаренья которой наполнял тошнотворным запахом жилище парижской бедноты. Вообще,

Марина Ивановна учила меня выбирать свежую селедку по ряду признаков: жабры должны быть красные, глаза рыбы белые, спинка у головы должна пружинить при нажатии на нее пальцем. Часто Марина Ивановна покупала маленькие ракушки-мидии, которые были очень дешевые [1; 367].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. Париж, Медон, 31 августа 1931 г.:

Всё поэту во благо, даже однообразие (монастырь), все кроме перегруженности бытом, забивающим голову и душу. Быт мне мозги отшиб! Живу жизнью любой медонской или вшенорской хозяйки, никакого различия, должна всё что должна она и ничего не смею чего не смеет она – и многого не имею, что имеет она – и многого не умею. В тех же обстоятельствах (а есть ли вообще те же обстоятельства??) другая (т. е. не я, – и уже всё другое) была бы счастлива, т. е. – и обстоятельства были бы другие. Если утром ничего не надо (и главное не хочется) делать, кроме как убирать и готовить – можно быть, убирая и готовя, счастливой – как за всяким делом. Но несделанное свое (брошенные стихи, неотвеченное письмо) меня грызут и отравляют всё. – Иногда не пишу неделями (NB! хочется – всегда), просто не сажусь... [8; 395]

Марина Ивановна Цветаева. Из письма В. Н. Буниной. Кламар, 28 апреля 1934 г.:

Но главное, Вера, дом. Войдите в положение: С. Я. человек не домашний, он в доме ничего не понимает, подметет середину комнаты и, загородясь от всего мира спиной, читает или пишет, а еще чаще – подставляя эту спину ливням, гоняет до изнеможения по Парижу.

Аля отсутствует с 8 1/2 ч. утра до 10 ч. вечера.

На мне весь дом: три переполненных хламом комнаты, кухня и две каморки. На мне – едѣльная (Мурино слово) кухня, п. ч. придя – захотят есть. На мне весь Мур: проводы и приводы, прогулки, штопка, мывка. И, главное, я никогда никуда не могу уйти, после такого ужасного рабочего дня – никогда никуда, либо сговариваться с С. Я. за неделю, что вот в субботу, напр., уйду. Так я *отродясь* не жила. И это безысходно. Мне нужен человек в дом, помощник и заместитель, никакая уборщица делу не поможет, мне нужно, чтобы вечером, уходя, я знала, что Мур будет вымыт и уложен вовремя. Одного оставлять его невозможно: газ, грязь, неуют пустого жилья, – и ему только девять лет, а дети *все* – безумные, оттого они и не сходят с ума. <...>

Смириться? Но во имя чего? Меня все, все считают «поэтической», «непрактичной», в быту – дурой, душевно же – тираном, а окружающих – жертвами, не видя, что я из чужой грязи не вылезаю, что *на коленях* (физически, в неизбывной луже стирки и посуды) служу – неизвестно чему!

Если одиночное заключение, монастырь – пусть будет устав, покой, если жизнь прачки или кухарки – давайте *реку* и *пожарного* (-ных!). И еще лучше – сам пожар!

И это я Богу скажу на Страшном Суду. Грехи?? Раскаяние? Ого-о-о!

* * *

А, впрочем, я очень тиха, мои «черти» только припев, а м. б. лейтмотив. Нестрашные черти, с облезшими хвостами, домашние, жалкие.

* * *

Страшно хочется писать. Стихи. И вообще. До тоски [9; 269–271].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма С. Я. Эфрону. Париж, 20 сентября 1938 г.:*

Милый <...>, бытие (в смысле быта, как оно и сказано) не определяет сознания, а сознание – бытие. Льву Толстому, *senior*'у¹⁹ – нужен только голый стол – для локтей, Льву Толстому *junior*'у²⁰ – накрытый стол (бронзой или хрусталем – и полотном – и плюшем) – а бытие (быт) было одно: в чем же дело? в сознании: осознании этого быта. – Это я в ответ на одну Вашу – походя – фразу. И – скромный пример – мой быт всегда диктовался моим сознанием (на моем языке – душою), поэтому он всюду был и будет – один: т. е. всё на полу, под ногами – кроме книг и тетрадей, которые – в высокой чести [13, 377].

Ольга Алексеевна Мочалова:

М. Ц. с удовлетворением отложила ручку и положила тетрадь в матерчатую хозяйственную сумку, которую всегда брала с собой, приговаривая: «А вдруг я что-нибудь куплю» [1; 491].

¹⁹ Старцу (*фр.*).

²⁰ Юноше (*фр.*).

Гардероб

Ариадна Сергеевна Эфрон. *Из письма П. Г. Антокольскому. 21 июня 1966 г.:*

При ее пренебрежении к моде вообще, она не была лишена и женского, и романтического пристрастия к одежде, к той, которая ей шла [17; 282].

Мария Ивановна Кузнецова:

(В 1912 г. – Сост.). Какое на ней платье! <...> Необыкновенное! восхитительное платье принцессы! Шелковое, коричнево-золотое. Широкая, пышная юбка до полу, а наверху густые сборки крепко обняли ее тонкую талию, старинный корсаж, у чуть открытой шеи – камея. Это волшебная девушка из XVIII столетия [1; 57].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма М. С. Фельдштейну. Феодосия, 23 декабря 1913 г.:*

Завтра будет готово мое новое платье – страшно праздничное: ослепительно-синий атлас с ослепительно-красными маленькими розами. Не ужасайтесь! Оно совсем старинное и волшебное. Господи, к чему эти унылые английские кофточки, когда т^ак мало жить! Я сейчас под очарованием костюмов. Прекрасно – прекрасно одеваться вообще, а особенно – где-ни^кб^{удь} на необитаемом острове, – только для себя! [13; 169]

Марина Ивановна Цветаева. *Из записной книжки. 24 января 1914 г.:*

Сегодня готово мое золотистое платье из коктебельской летней фанзы, купленной Лёвой на халат. Платье для меня пленительное: пышный лиф и рукава, гладкая юбка от талии. Платье по последней моде превратилось на мне в полудлинное платье подростка, – хотя оно и до полу.

Странно, какой бы модный фасон я ни выбрала, он всегда будет обращать внимание, к^ак редкий и даже старинный.

Выходных платьев у меня сейчас 5: коричневое фаевое – старинное, к^ак черное фаевое и атласное – синее с красным; костюм, вроде смокинга, – темно-коричневый шерстяной с желтым атласным жилетом и черными отворотами; наконец это золотое. Домашние – ужасны, – изношены и подлы [11; 29].

Валентина Константиновна Перегудова:

(В 1915–1916 гг. – Сост.). Марина, но совсем, совсем другая: в красном пальто с пелериной, отделанной по краям мехом, в такой же шапочке, в модных туфлях на высоких каблуках, с свободной и легкой походкой [1; 28].

Эмилий Львович Миндлин:

(В 1921 г. – Сост.). Цветаева ходила в широких, почти цыганских юбках, в свободной блузе с белым отложным воротничком. Вид ее с челкой и с папиросой в уголке тонкогубого рта, с кожаной сумочкой на ремешке через плечо, а тем более мой вид даже в тогдашней уличной толпе не мог не дивить людей [1; 123].

Петр Никанорович Зайцев:

(Начало 1920#х. – Сост.). Появлялась она у нас в ГИЗе в скромном, простом черном костюме, в маленькой шляпке на стройной головке, в черной жакетке и с перекинутой через плечо сумочкой-портфельчиком: не то школьница старших классов, не то пешеходная

туристка, готовая исходить своими небольшими, но сильными ногами десятки километров, свои «версты», не выражая особой усталости [1; 137].

Валентина Евгеньевна Чирикова (1897–1988), художник-график. Дочь писателя Е. Н. Чирикова:

(В 1920#е, в Чехии. – Сост.). У Цветаевой был собственный стиль одежды и прически: платье-рубашка, перевязанная поясом простым узлом; волосы – прямоугольно стриженные, не для украшения лица, а как оконный пролет в мир; туфли-вездеходы. И все так: чтобы не мешало, не отвлекало [1; 275].

Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова:

(В 1920#е. – Сост.). Перетянутое кушаком коричневое платье – всегда носила туго стянутый кожаный пояс на очень тонкой, осиной талии [1; 292].

Вера Леонидовна Андреева:

(В конце 1920#х. – Сост.). Марина Ивановна была одета всегда предельно скромно, в некое подобие «дирдели-клейд» – стилизованную одежду немецких девушек подросткового возраста. Это – платья из ситца или другой, похожей на ситец, материи, какого-нибудь неярко цвета, с неяркими же, мелкими цветочками. Оно шито в талию, у него широкая сборчатая юбка и четырехугольный вырез; рукава короткие. Это платье удивительно шло Марине Ивановне [1; 366].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча [1; 144].

Галина Семеновна Родионова:

Обычно (летом в Провансе. – Сост.) Марина носила шорты [1; 414].

Екатерина Николаевна Рейтлингер-Кист:

Марина, всегда подтянутая, не по моде, но по-своему одетая (с браслетами на руках и в спортивных полуботинках), выглядела изящнее и острее, чем на фотографиях, всматриваясь близорукими глазами в окружающий ее, чуждый ей мир [1; 287].

Евгений Борисович Тагер:

(В 1939 г. – Сост.). Никаких парижских туалетов – суровый свитер и перетянутая широким поясом длинная серая шерстяная юбка [1; 462].

Мария Иосифовна Белкина:

(В 1940 г. – Сост.). Невысокого роста, сухоощавая, с угловатыми, резкими движениями, плохо одетая, впрочем, как и большинство из нас в те предвоенные годы. Только недавно из Европы, из Парижа, но ничего оттуда, все как-то по-нашенски, по-русски, по-советски, плохо пригнано, долго ношено, небрежно надето. Просто надо же что-то носить. Но это отнюдь не от пренебрежения к одежде. Желание быть хорошо одетой, мне кажется, было ей свойственно, и красивая тряпка – конечно, с ее точки зрения красивая – могла доставить ей не меньшую радость, чем любой другой женщине, а может быть, и большую, в силу ее тем-

перамента. Но обстоятельства одолели! И это небрежение к тому, что и как на ней, относилось скорей не к одежде как таковой, а к невозможности ее, к бедности, к вечной нужде! <...>

Чаще всего ее можно было встретить в костюме: юбка, широкая книзу, длинная, «миди», как говорят теперь, блузка из той же материи, что и юбка, жакет, берет и туфли на низком каблуке. <...>

Ее костюмчик, блузки – все было оттуда, из Парижа, но, как я уже говорила, все это выглядело очень по-нашенски, и не только потому, что было дешевым и давно ношеным, но и потому, как носилось. Мне кажется, доставь ей платье от самого Покена, и она бы все переиначила на свой лад, подпоясалась бы каким-нибудь первым приглянувшимся, первым попавшимся под руку ремешком, и от Покена ничего бы не осталось. Я помню, как она носилась с белым меховым воротником от тулупа, пришивая его то к пальто, то к жакету, уверяя, что он серебряный, необыкновенный и ей к лицу [4; 31, 38].

Ида Брониславовна Игнатова:

(В 1941 г. – Сост.). Одевалась просто. Обычно в строгие блузки и широкие, в сборку юбки из грубой шерсти, перетянутые на очень тонкой талии (такие «пейзанские») [4; 158].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом – «изящного» [1; 144].

Николай Артемьевич Еленев:

Одежда менее всего была заботой Цветаевой. Она никогда не владела изяществом, никогда не думала о внешности. Пренебрежение не только к материальной культуре, но и к значению обличья Марина впитала в себя в Москве естественно, без раздумья. Платье на ней было всегда одно, независимо от его покроя, цвета, ткани: оно только наглухо прикрывало ее наготу, заставляло забывать о ней [1; 264–265].

Родные и близкие

Предки

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма В. Н. Буниной. Кларм, 24 августа 1933 г.:*

Узнала об отце прадеда: Александре Бернацком, жившем 118 лет (род. в 1696 г., умер в 1814 г.), застав четыре года XVII в., весь XVIII в. и 14 лет XIX в., т. е. всего Наполеона! Прадед – Лука Бернацкий – жил 94 года. Зато все женщины (все Марии, я – первая Марина) умирали молодые: прабабка гр«афиня» Ледуховская (я – ее двойник), породив семеро детей, умерла до 30#ти лет, моя бабушка – Мария Лукинична Бернацкая – 22 лет, моя мать, Мария Александровна Цветаева – 34 лет. Многое и другое узнала, напр«имер» что брат моей прабабки был кардиналом и даже один из двух кандидатов в папы. В Риме его гробница <...>.

А про деда Мейна узнала, что он не только не был еврей (как сейчас, желая меня «дискредитировать», пустили слухи в эмиграции), а самый настоящий русский немец, к тому же редактор московской газеты – кажется «Голос» <...>

Узнала, что семья (с самого того 118#летнего Александра) была страшно-бедная, что «паныч» (прадед Лука), идя учиться в соседнее село к дьячку, снимал сапоги и надевал их только у входа в деревню, а умер «при всех орденах» и с пенсией, «по орденам», в 6.000 руб. <...>

Герб Бернацких – мальтийская звезда с урезанным клином (– счастья!). Я всегда, не зная, мальтийскую звезду *до тоски* любила [9; 248–249].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма В. Н. Буниной. Кларм, 28 августа 1933 г.:*

<...> Моя бабушка 12 лет вместе с сестрами 14#ти и 16#ти во время польского восстания в Варшаве прятала повстанческое оружие (прадед был на русской службе и обожал Николая I) [9; 253–254].

Отец Иван Владимирович Цветаев

Анастасия Ивановна Цветаева:

Родился он в семье, выделявшейся трудолюбием, высокими этическими правилами и необычайным дружелюбием к людям. Его отец, наш дед, был сельским священником в селе Талицы, Владимирской губернии; строгий и добрый, рачительный хозяин, он заслужил глубокое почитание округи. Старший сын его, Петр, пошел по его стопам; второй, Федор, был инспектором гимназии, третий был наш отец; четвертый, Дмитрий, – профессор русской истории. Росли папа и братья его без матери, в бедности. Мальчики ходили босиком и пару сапог берегли, обувая их лишь в городе. В двадцать девять лет отец уже был профессором. Он начал свою ученую карьеру с диссертации на латинском языке о древнеиталийском народе осках, для чего исходил Италию и на коленях излазил землю вокруг древних памятников и могил, списывая, сличая, расшифровывая и толкуя древние письмена. Это дало ему европейскую известность. Российская академия присудила ему премию «За ученый труд на пользу и славу Отечества». Болонский университет в свой 800-летний юбилей удостоил отца докторской степени. Погружение в классическую филологию с памятниками древности и музеями Европы пробудило в отце интерес к истории искусств, и в 1888 году он возглавил кафедру изящных искусств Московского университета. Так он перешел от чистой филологии к практической деятельности основателя Музея слепков работ лучших мастеров Европы для нужд студентов, не имевших средств ездить за границу изучать в подлинниках древнюю скульптуру и архитектуру. Здесь, как и в филологическом изучении, его трудолюбию не было конца. Его беспримерная энергия в этом бескорыстном труде изумляла всех знавших его. <...>

Уступчивый и нетребовательный в жизни, отец проявлял невиданную настойчивость в преодолении препятствий на пути к созданию задуманного – такого и в Европе не было – Музея слепков, а препятствий было много. Занятость и усталость нисколько и никогда не делали его раздражительным [15; 18–19, 20].

Василий Васильевич Розанов (1856–1919), философ, писатель:

Мало речистый, с тягучим медленным словом, к тому же не всегда внятным, сильно сутуловатый, неповоротливый, Иван Владимирович Цветаев или – как звали его студенты – Johannes Zwetajeff, казалось, олицетворял собою русскую пассивность, русскую медлительность, русскую неподвижность. Он вечно «тащился» и никогда не «шел». «Этот мешок можно унести или перевезти, но он сам никуда не пойдет и никуда не уедет». Так думалось, глядя на его одутловатое с небольшой русой бородкой лицо, на всю фигуру его «мешочком», – и всю эту беспримерную тусклость, серость и неясность.

«Но, – говорит Платон в конце «Пира» об особых греческих тайниках-шкафах в виде Фавна, – подойди к этому некрасивому и даже безобразному фавну и раскрой его: ты увидишь, что он наполнен драгоценными камнями, золотыми изящными предметами и всяким блеском и красотой». Таков был и безвидный неповоротливый профессор Московского университета, который совершенно обратно своей наружности являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера. Цветаев – великое имя в древнеиталийской эпитафике (надписи на камне) и создатель Московского Музея Изящных Искусств. Он был великим украшением университета и города.

Александра Жернакова-Николаева, магистр философии:

Иван Владимирович был человеком, всецело преданным своему делу. Человек он был мягкой, нежной души, иногда совершенно наивный. Я помню, как однажды он рассказывал о совете, который он дал императору Николаю Второму. Было это на одной из аудиенций, которые охотно давал ему государь, прекрасно относившийся к профессору Цветаеву. Речь зашла у них о студенческих беспорядках. Иван Владимирович поведал государю, какие милые и приветливые бывают студенты, когда осматривают музеи и картинные галереи. Иван Владимирович кончил свою речь словами: «Ваше Величество! Надо основывать больше музеев и галерей, тогда не будет студенческих беспорядков...» [1; 53]

Софья Ивановна Липеровская:

Строительство Музея изобразительных искусств заканчивалось в 1912 году. Иван Владимирович был часто в отъезде – собирал материалы для экспозиции. Из Египта были вывезены подлинные мумии, саркофаги. Профессор Цветаев задумал построить музей как дворец культуры, своего рода лабораторию в помощь научным работникам, историкам и искусствоведом. В музее большая библиотека, прекрасны кабинет гравюры, читальный зал.

На постройку здания и на организацию музея затрачены громадные суммы, которые Иван Владимирович умел добывать от крупных фабрикантов и знати. Хотя в музее был целый штат сотрудников, самые трудные дела он брал на себя.

Приближался день открытия музея. Иван Владимирович предложил показать экспозицию сотрудникам, научным работникам и своим друзьям.

Марина и Ася позвали на эту экскурсию и меня.

Ивана Владимировича я видела до этого в домашней обстановке в Трехпрудном переулке, когда ему приходилось отвечать на насмешливые заявления дочерей и на их упреки в консерватизме. Здесь, в музее, он показался мне человеком большой воли, кипучей энергии. С увлечением рассказывал о преодолении трудностей в поисках материала и при пересылке в Москву драгоценного груза.

Когда мы шли по лестнице, украшенной колоннами из розового мрамора, он обратил наше внимание на две колонны: они едва заметно отличались по цвету от других. Оказывается, в пути разбились две колонны. Как заменить, когда найти точно такие невозможно! Только после долгих поисков, переговоров удалось купить еще две колонны, подобные тем, какие были уже поставлены. Иван Владимирович сообщал нам об этом как о большой победе.

Сколько забот и внимания, не говоря уже о больших капиталах, вложил он в дело своей жизни. А воспользоваться плодами этих усилий не пришлось – он умер вскоре после того, как ему поручили быть директором музея. Последними словами его были: «Я сделал все, что мог» [1; 36–37].

Марина Ивановна Цветаева:

В день открытия музея – майский, синий и жаркий – рано утром – звонок. Звонок – и венок – лавровый! Это наша старая семейная приятельница, обрусевшая неаполитанка, приехала поздравить отца с великим днем. Никогда не забуду. Отец в старом халате, перед ним седая огнеокая красавица, между ними венок, который та упорно старается, а тот никак не дает надеть. Мягко и твердо отбиваясь: – «Помилуйте, голубушка! Старый профессор в халате – и вдруг венок! Это вам нужно надеть, увенчать красоту! Нет уж, голубушка, увольте! Сердечно вам благодарен, только разрешите мне этот венок... Экая вы, однако, прыткая!» Итальянка, сверкая глазами и слезами, а венок для верности над головой отца придерживая: – «От лица моей родины... Здесь не умеют чтить великих людей... Иван Владимирович, вы сделали великое дело!» – «Полноте, полноте, голубка, что вы меня конфузите! Просто осуществил свою давнишнюю мечту. Бог дал – и люди помогли» [7; 164].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Простой, добродушный и жизнерадостный, он в домашнем быту был с нами шутилив и ласков.

Помню я его седеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках. Простое русское лицо с крупными чертами; небольшая редкая бородка, кустившаяся вокруг подбородка. Глаза – большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стекла очков. Его трогательная в быту рассеянность создавала о нем легенды. Нас это не удивляло, папа всегда думает о своем Музее. Как-то сами, без объяснений взрослых, мы это понимали.

Папе шел сорок шестой год, когда родилась Марина, сорок восьмой – когда родилась я [15; 20].

Валерия Ивановна Цветаева:

Отец поощрял в детях, поддерживал, не жалея средств, все, что могло повысить их культурный уровень: общее образование, знание языков, помощь репетиторов и гувернанток, занятия музыкой, путешествия, но личное повседневное руководство разве мог он взять на себя? Да педагогика и не была его призванием [1; 15].

Марина Ивановна Цветаева. В записи Л. Либединской:

Помню, я была совсем маленькой, шли мы как-то с отцом по улице. Вдруг откуда-то из-за угла прямо на нас вылетел рысак. Я очень испугалась и хотела бежать. Но отец крепко стиснул мне руку и остановился посередине мостовой. Кучер грубо выругался, натянул вожжи, и пролетка, которая летела прямо на нас, свернула вбок и промчалась мимо. Когда смолкло цоканье копыт, улеглась пыль и я немного пришла в себя, отец сказал: «Если на тебя надвигается что-то, с чем ты не можешь справиться, остановись. Самое страшное в таких случаях – начать метаться...»

Валерия Ивановна Цветаева:

Непоправимым злом в нашем доме было отсутствие обязательной и привычной заботы об отце, не слыжавшем заслуженного им благодарного «спасибо» от детей и жены, не выдававшим от них ни ласки, ни внимания [1; 20].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма В. В. Розанову. Феодосия, 8 апреля 1914 г.:

Его кончина для меня совершенно поразительна: тихий героизм, – такой скромный!

Господи, мне плакать хочется!

Мы все: Валерия, Андрей, Ася и я были с ним в последние дни каким-то чудом: В «александрия» случайно приехала из-за границы, я случайно из Коктебеля (сдавать дом), Ася случайно из Воронежской губернии, Андрей случайно с охоты.

У папы в гробу было прекрасное светлое лицо.

За несколько дней до его болезни разбились: 1) стеклянный шкаф 2) его фонарь, всегда – уже 30 лет! – висевший у него в кабинете 3) две лампы 4) стакан. Это был какой-то непрерывный звон и грохот стекла [8; 125].

Мать Мария Александровна Мейн

Анастасия Ивановна Цветаева:

Высокая, темноволосая (в раннем детстве нашем мама носила прическу, затем сняла косу, и над высоким лбом ее я помню волнистые волосы). Черты ее удлинённого лица не были так женственны и гармоничны, как у первой жены отца, – та была красавица, – но высокий лоб, блеск карих, умных глаз, нос с горбинкой (длиннее, чем требовал канон красоты), рот – в уголках его затаилась тонкая горечь, гордая посадка головы – во всем этом была суровая юношесковость [15; 20].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма В. В. Розанову. Феодосия, 8 апреля 1914 г.:

Мама была единственной дочерью. Мать ее, из польского княжеского рода, умерла 26-ти лет. Дедушка всю свою жизнь посвятил маме, оставшейся после матери крошечным ребенком. Мамина жизнь шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой, – замкнутая, фантастическая, болезненная, не-детская, книжная жизнь. 7-ми лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле.

Знакомых детей почти не было, кроме девочки, взятой в дом, вместо сестры маме. Но эта девочка была безличной, и мама, очень любя ее, все же была одна. Своего отца – Александра Даниловича Мейн – она боготворила всю жизнь. И он обожал маму. После смерти жены – ни одной связи, ни одной встречи, чтобы мама не могла опускаться перед ним, когда вырастет и узнает.

Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко-скрытой. Герои: Валленштейн, Поссарт, Людовик Баварский²¹. Поездка в лунную ночь по озеру, где он погиб. С ее руки скользит кольцо – вода принимает его – обручение с умершим королем. Когда Рубинштейн пожал ей руку, она два дня не снимала перчатки. Поэты: Heine, Goethe, Schiller, Shakespeare. – Больше иностранных книг, чем русских. Отвращение – чисто-девическое – к Zola и Мопассану, вообще к французским романистам, таким далеким.

Весь дух воспитания – германский. Упоение музыкой, *громадный талант* (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью.

Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, *неласковость* (внешняя), безумие в музыке, тоска.

12-ти лет она встретила юношу – его звали Сережей Э. (фамилии я не знаю, инициалы – моего Сережи!). Ему было года 22. Они вместе катались верхом в лунные ночи. 16-ти лет она поняла и он понял, что любят друг друга. Но он был женат. Развод дедушка считал грехом. – «Ты и дети, если они будут, – останетесь мне близки. Он для меня не существует». – Мама слишком любила дедушку и не согласилась выходить замуж на таких условиях. Сережа Э. уехал куда-то далеко. 6 лет мама жила тоской о нем. Поклон издали в концерте, два письма, – всё! – за целых 6 лет. Тетя (швейцарская гувернантка, с которой дедушка *не был* в связи!) обожала маму, но ничего не могла сделать.

Дедушка всё замолчал.

²¹ Валленштейн Альбрехт – полководец, главнокомандующий в Тридцатилетней войне; был обвинен в связях с неприятелем и убит своими офицерами. Поссарт Эрнст – немецкий актер и режиссер. Во время гастролей Поссарта во Фрейбурге зимой 1904/05 г. М. А. Мейн пела в его хоре. Людовик Баварский – германский король, император Священной Римской империи.

22#х лет мама вышла замуж за папу, с прямой целью заместить мать его осиротевшим детям – Валерии 8#ми лет и Андрею – 1 года. Папе тогда было 44 года.

Папу она бесконечно любила, но 2 первых года ужасно мучилась его неугасшей любовью к В. Д. Иловойской.

– «Мы венчались у гроба», – пишет мама в своем дневнике [8; 122–123].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Вторым браком Иван Владимирович женился на юной Марии Александровне Мейн, долженствовавшей заменить мать его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, – женился, не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами – благородством, самоотверженностью, серьезностью не по летам [1; 147–148].

Иван Владимирович Цветаев (1847–1913), отец М. И. Цветаевой, родился в селе Дроздове, расположенном недалеко от Иваново-Вознесенска, в семье священника, окончил Шуйское духовное училище, затем – Владимирскую семинарию. Ему принадлежит идея создания Музея изящных искусств, одно время носившего имя императора Александра III. Ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве:

Редким совершенством владевшая также и практически четырьмя иностранными языками, превосходная переводчица лучших беллетристов Италии, Германии, Франции (а я и не знала, что со стольких языков, – говорю я себе), отличная пианистка и большая любительница палитры, она горячо отдалась делу созидания нашего просветительного учреждения. Не один раз она ездила в художественные центры Западной Европы, принимая живое участие и в разработке требований для нового Музея, и в собирании памятников искусств для наших коллекций. Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем отечестве: она вела в течение целого ряда лет дневники и записи по музеям, особенно увлекал ее Альбертикум, знаменитый музей Дрездена. Здесь она нарисовала и первый план будущего Московского музея.

Она ездила на Урал для ознакомления с производящимися там у нас ломками белого мрамора. Когда осенью того же года внезапно ее поразил неизлечимый недуг, то и больная, в Италии, в Германии и на Южном берегу Крыма, она до самой преждевременной кончины (5 июля 1906 г.) не переставала думать об успехах нашего Музея. И одной из ее предсмертных печалей была горечь сознания невозможности увидеть свою Москву, свой дом и Музей. Деля предсмертные распоряжения, Марья Александровна завещала значительную долю своего состояния в вечный капитал Музея изящных искусств для составления из процентов при нем отделения библиотеки имени ее отца.

Марина Ивановна Цветаева:

Она вела всю его обширную иностранную переписку и, часто, заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шуток или лести (с французом), строкой из поэта (с англичанином), каким-нибудь вопросом о детях и саде (с немцем) – той человеческой нотой в деловом письме, личной – в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар – ничто. И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности, вхождения во всё и выхода из всего – победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него. Так, от дверных ручек упирающегося жертвователя до завитков колонн, музей – весь стоит на женском участии. Это я, детский

свидетель тех лет, должна сказать, ибо за меня этого не скажет (ибо так глубоко не знает) – никто. Когда она в 1902 году заболела туберкулезом и выехала с младшими детьми за границу, ее участие не только не ослабло, но еще усугубилось – всей силой тоски. Из Москвы то в генуэзское Нерви, то в Лозанну, то во Фрейбург шли подробные отчеты о каждом вершковом приросте ширящегося и высящегося музея. (Так родители, радуясь, отмечают рост ребенка на двери и в дневнике.) И такие же из Нерви, Лозанны и т. д. любовные опросные листы. Когда позволяло здоровье, верней болезнь, она, по поручению отца, ездила по старым городкам Германии, с которой был особенно связан мой отец, выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок и улыбок. (А у делового немца добиться улыбки...) <...>

Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и ее!) детища. Думаю, что не одних нас, выросшими, видела она предсмертным оком [7; 159–160].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Мать знала покойную Варвару Дмитриевну, урожденную Иловайскую, – бывала с отцом на раутах у Цветаевых. Любовалась ею, ужаснулась смерти ее от родов и голосу, обращенному над могилой к вдовцу: «На чаёк с вашей милости!» Об этом она писала в своем дневнике. Она вступила второй женой в дом, в котором еще пахло смертью. Она плохо рассчитала свои силы по отношению к старшей из этих детей и не справилась ни с замкнутым нравом той, ни с горячим нравом своим, оставив в падчерице своей навсегда недобрую память [15; 21].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

В доме, бывшем приданым Варвары Дмитриевны и еще не остывшем от ее присутствия, молодая хозяйка завела свои собственные порядки, рожденные не опытом, которого у нее не было, а одной лишь внутренней убежденностью в их необходимости, порядки, пришедшиеся не по нраву ни челяди, ни родственникам первой жены, ни, главное, девятилетней падчерице [1; 148].

Валерия Ивановна Цветаева:

В нашу семью она вошла ураганом. И дальше не сумела дать покой и здоровый семейный уклад.

Трудно было и ей самой, и другим с нею тоже [1; 21].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Из двух дочерей от второго брака Ивана Владимировича наиболее для родителей легкой оказалась (или показалась) младшая, Анастасия; в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины и младшестью своей и незащищенностью была ближе матери, отдохнувшей с ней душою: Асю можно было просто любить. В старшей же, Марине, Мария Александровна слишком рано распознала себя, свое: свой романтизм, свою скрытую страстность, свои недостатки – спутники таланта, свои вершины и бездны – плюс собственные Маринины! – и старалась укрощать и выравнивать их. Конечно же, и это было материнской любовью, и, может быть, в превосходной степени, но в то же время это была борьба с самой собой, уже состоявшейся, в ребенке, еще не определившемся, борьба с будущим – столь безнадежная! – во имя самого будущего... Борясь с Мариной, мать боролась за нее, – втайне гордясь тем, что не может одержать победу! [1; 149]

Валерия Ивановна Цветаева:

Мария Александровна сама была человек порывистый, несдержанный [1; 15].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Мама не любила хозяйства, – так нам после говорили о ней, и хоть я помню, как она метила по канве – затейливыми, по печатным тетрадочкам образцов, буквами – белые, и даже вышивала порой, крестиком, и заказывала обеды и ужины, и поливала цветы; и помню гневные стычки между ней и бонной или экономкой Августой Ивановной, долговязой немкой, – но все это делалось поверхностью сердца. И как ни строга она была к нам, и как ни долги и пылки были ее нам нотации – мы никогда не восставали против нее. Оттого ли, что мы обе были – в нее, и понимали ее с полуслова, – мы ее жарко любили. Именно жар был в наших отношениях с матерью, и его – хоть отец был к нам всегда добр – не было в отношении к отцу. Отец нам был скорее – дед: шутливый, ласковый, но далекий. С матерью же общение было самое тесное, хотя мы и жили в отдалении – она внизу, мы, дети, на антресолях [15; 24–25].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Детей своих Мария Александровна растила не только на сухом хлебе долга: она открыла им глаза на никогда не изменяющее человеку, вечное чудо природы, одарила их многими радостями детства, волшебством семейных праздников, рождественских елок, дала им в руки лучшие в мире книги – те, что прочитываются впервые; возле нее было просто уму, сердцу, воображению [1; 150–151].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Мамины рассказы! О чем? О чем только не! О старом короле Лире, изгнанном дочерьми, которым он отдал корону и царство, о его ночи под грозой в поле... О молодом Людовике Баварском, любившем луну и пруды, музыку, отрекшемся от престола, поселившемся в лесу, во дворце Бург, жившем ночью под музыку Вагнера – театр и оркестр, – а днем спал. Он утонул в озере (или бросился в него). Мама с дедушкой плыли по этому озеру на лодке. Мама, сняв с пальца кольцо, опустила с ним руку в воду, разжала руку – и оно, замедленное водой в падении, ушло, золотнув, в глубину... Это мы понимали. <...>

Со страстной любовью к отцу своему мама рассказывала о путешествиях с ним за границей, о поездке по Рейну, реке легенд, текущей меж гористых берегов, о старых замках на утесах, о местах, где пела Лорелея. Мы уже знали о ней знаменитую немецкую песнь Гейне. И родным становился зеленый, пенистый Рейн. <...>

Она постоянно читала нам вслух, забирая нас вниз, к себе, от гувернантки (то француженки, то немки). В высокой, зимой холодной «маминой гостиной» с большим книжным шкафом и книжными полками, картинами, с ковром поверх старого холодного паркета, сидя за своим, ореховым письменным столиком, при свете зеленого фарфорового абажура ее – еще с девических лет – лампы, она читала нам свои любимые, еще ее детства книги, – а мы на ковре слушали ее мастерское чтение. Не мы одни: большая перламутровая раковина, сиявшая, как заря, и в которой шумело море. И голубые шары, три – как основа, и на них четвертый, и как ни верти их – все так же: один сверху и снизу три – такие голубые, светлые, темные, такие глубоко голубые, что – синие, как мамино сапфировое кольцо. <...>

Раковина была Мусина, шары – мои; затем мы менялись, и счастьем нового обладания не было ни дня, ни края. Так мы менялись всем, все деля. Только одно осталось на все детство: «Ундина» – навек Маринина, «Рустем и Зораб» – мой [15; 11, 25].

Марина Ивановна Цветаева:

О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего

не успеет, так вот – хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще... Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить – на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала, – и даже давила! – не давая улечься, умяться (нам – успокоиться), заливала и забивала с верхом – впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание – как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь – самое ценное – для долгией сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним – нырок в сундук, где, оказывается, еще – всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика <...>.

После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом [7; 13–14].

Лёра **(сводная сестра Валерия Ивановна Цветаева)**

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то и поняла в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила: главным же образом – чужеродности самой природы ее собственной своей природе, самой ее человеческой сущности – собственной своей; этого необычайного сплава мятежности и самодисциплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это было через край, не уместаясь в общепринятых тогда рамках. Может быть, не приняла Валерия и сумрачной неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны. <...>

Искренне любившая отца, Валерия вначале относилась к его младшим дочерям, своим сводным сестрам, с равной благожелательностью; приезжая на каникулы из института и потом, по окончании его, она старалась баловать обеих, «нейтрализовать» строгость и взыскательность Марии Александровны, от которой оставалась независимой, пользуясь в семье полнейшей самостоятельностью, как и ее брат Андрей. На отношение Валерии Ася отвечала со всей непосредственностью, горячее к ней привязанностью; Марина же учуяла в нем подвох: не отвергая Валериных поблажек, пользуясь ее тайным покровительством, она тем самым как бы изменяла матери, ее линии, ее стержню, изменяла самой себе, сбиваясь с трудного пути подчинения долгу на легкую тропу соблазнов – карамелек и чтения книг из Валериной библиотеки [1; 148, 149–150].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Лёра была на десять лет старше Марины и на двенадцать лет – меня. На семь с лишним лет старше ее родного брата Андрюши. Она никогда нас не обижала, заступалась за нас перед вспыльчивой мамой. С нами шутила, тормошила нас, поддразнивала (меня – за хныканье и залихватый плач на «и»). Она была – особенная, ни на кого не похожая [15; 37].

Марина Ивановна Цветаева:

Бескровное смуглое лицо, огромные змеинодрагоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый рот, резкий нос навстречу подбородку, – ни национальности, ни возраста у этого лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо – ведьмы [7; 37].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Из нас она отличала Мусю – за резкую определенность желаний и нежеланий, ум, характер, раннее развитие – и часто пробовала отстоять ее от маминой строгости. Муся платила ей пылкой любовью. Лёра поселилась на антресолях, в моей бывшей детской, рядом с Андрюшиной комнаткой, через две двери от нашей детской. С мамой у нее бывали нелады; мы чуяли это, не разбираясь в причинах, не понимая их.

<...> Ее комната была – особый мир. Моему уму он был недоступен, но волновал и влек. Муся имела доступ к ее книжному шкапу (мамы ее, чем-то отличавшемуся от всего нашего): невысокий, ореховый, необычной формы, с двумя узкими зеркалами на створках. На полках жили непонятные книги (английские), в них цвели немыслимой красоты цветные картинки. Сердце от них пылало, как те лужайки, озера и Цветущие рощи и облака, – и, раз, по насто-

янию Муси, мы вырезали самое восхитившее, грубым, безвозвратным движением ножниц, причинившим Лёре столько же горя, сколько мечталось счастья от этого – нам! [15; 37]

Марина Ивановна Цветаева:

«...» В комнате Валерии, обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла, плоды которого – «Девочки» Лухмановой, «Вокруг света на Коршуне» Станюковича, «Катакомбы» Евгении Тур, «Семейство Бор-Раменских» и целые годы журнала «Родник» я так жадно и торопливо, виновато и неудержимо пожирала, оглядываясь на дверь. «...»

Но было еще – другое. В Валериинной комнате мною, до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мазепа», «Русалка», «Барышня-Крестьянка», «Цыганы» – и первый роман моей жизни – «Anaïs». В ее комнате была любовь, жила – любовь, – и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц – но тут остановка: из глубокого колодца комода, из вороха бархаток, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов, на меня – глазами глядят! – серебряные пилюли.

Конфетки – но страшные, пилюли – но серебряные, серебряные съедобные бусы, которые она почему-то так же тайно – загораживаясь спиной и лбом в комод – глотала, как я – лбом в шкаф – «Жемчужины русской поэзии». Однажды меня озарило, что пилюли – ядовитые и что она хочет умереть. От любви, конечно. Потому что ей не дают выйти замуж – за Борис-Иваныча или Альсан-Палча? Или за Стратонова? Или за Айналова? Потому что ее хотят выдать замуж за Михаил-Иваныча Покровского!

«Лёра, а мне можно съесть такую пилюлю?» – «Нет». – «Почему?» – «Потому что тебе не нужно». – «А если съем – я умру?» – «Во всяком случае, заболеешь». Потом «...» обнаружилось, что пилюли – самые невинные, *contre les troubles*²² и т. д. – самые обычные барышнинские, но никакая нормальность их применения не вытравила из меня странного образа желтолицей молодой девушки, тайно наедающейся из комода сладкого ядовитого серебра.

Но не только ее семнадцатилетний пол царил в этой комнате, а вся любовность ее породы, породы ее красавицы-матери, любви не изжившей и зарывшей ее по всем этим атласам и муарам, навек-продушенным и недаром так жарко-малиновым [7; 36–37].

Анастасия Ивановна Цветаева:

Ее милое, внезапно приближавшееся на миг, с улыбкой, лицо, шутивное слово, лакомство в руку и звук ее пения – чистый высокий голос, – романсы и песни, где дышало, сияло изящество, прихоть и грация – отзвук, быть может, времен до наших, живших некогда в доме. И были цветы, маслом, на кусках светлой клеенки, на шелку подушек – рукой Лёры. И была боль от горячих щипцов у виска, когда Лёра нас завивала и, смеясь, нам внушала: «Pour être belle, il faut souffrir»²³. И были граненые пробки от флаконов духов, – как от них пахло! И голова кружилась от сломанных в гранях радуг, огней, искр...

Помню споры о том, хорош или плох запах модных тогда духов «Пачули»; детское упоение нюхать выдыхавшиеся запахи пустых, из-под духов, пузырьков причудливых форм; страстную любовь к одним и оттолкновение от других; одни пузырьки были любимые, другие – противные и враждебные; это определялось сразу, с первого нюха. «...»

Любовь к необычайному, только совсем иначе, чем мама, поддерживала в нас и Лёра, устраивала, сама принимая участие, «живые картины» – «пантомимы», освещенные бенгальским огнем. Зала – темным жерлом – фоном; гостиная пылала вспышками зеленого –

²² Успокоительные (фр.).

²³ Чтобы быть красивой, надо страдать (фр.).

малинового – желтого великолепия. Лица были мертвенны, горящи, фееричны. Мы все на миг – сказочны. Жадно лилось это фантастическое вино, и мило улыбалось нам родное лицо Лёры, строя гримасы, отвращая меня от рева (что «кончилось»), обещая, что будет – еще... Во всем она помогала нам <...>[15; 38].

Марина Ивановна Цветаева:

Она после Екатерининского института поступила на Женские курсы Герье в Мерзляковском переулке, а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию, – вообще всю жизнь пропоступала [7; 37].

Сводный брат Андрей Иванович Цветаев

Анастасия Ивановна Цветаева:

Андрюша был старше нас на два и четыре года, уже начинал учиться и вообще – был другой. Никакой лирики, ни страсти к уюту, ни страстной любви к собакам и кошкам, ни жажды все вспоминать... жадно заглядывать в будущее – этого ничего в нем не было. Мы таскали вместе сладости, нас наказывали, нам вместе дарили подарки, мы отнимали их друг у друга, – но чувство, что Андрюша – другой, более вялый, чем мы, угрюмее, насмешливее, – присутствовало. <...>

Мама Андрюшу любила – любовалась им и старалась не быть к нему строже, чем к нам. Особенно она нежна была к нему в первые его годы, когда еще не было нас. Он был очень красив – в мать, а те, кто не знал, что это пасынок мамы, видя их вместе, – у обоих были удлинённые лица, карие глаза, темные брови, – говорили: «На маму похож» [15; 29].

Марина Ивановна Цветаева:

Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела, и вышло бы вроде измены: дом был начисто поделен на пенье (первый брак отца) и рояль (второй), которые иногда тарусскими поздними вечерами и полями в двухголосом пении, Валерии и нашей матери – сливались. <...>

Андрюшину роялю воспротивился сам его дед Иловайский, заявивший, что «Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки». Бедный Андрюша, затертый между двумя браками, двумя роками: петть мальчиков не учат, а рояль – *мейновское* (второ-женино). Бедный Андрюша, на которого не хватило: – ушей? свободной клавиатуры? получаса времени? просто здравого смысла? чего? – всего и больше всего – слуха. Но вышло как по-писаному: ни из Валерииных горловых полосканий, ни из моего душевного туше, ни из Асинных «тили-тили» – ничего не вышло, из всех наших дарований, мучений, учений – ничего. Вышло из Андрюши, отродясь не взятого на наш горделивый музыкальный корабль, попавшего в наш дом в некое междумузикальное пространство, чтобы было гостям и слугам, а может быть, и городовому за окном – на чем отдохнуть: на его немоте. Но по-особому вышло, и двойной запрет сбился: ни петть, ни играть на рояле он не стал, но, из Андрюши став Андреем, сам, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху – все, и не только сам научился, еще и Асю научил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле: играла громко и верно. И последней радостью матери была радость этому большому красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку (оставленному ею с гимназическим бобриком), с *ее* гитарой в руках, на которой он, присев на край *ее* смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал – все. Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки: «Ты так хорошо играешь, и тебе так идет...» И, кто знает, не пожалела ли она тогда, что *тогда* послушалась старого деда Иловайского и своего молодого второ-жениного такта, а не своего умного, безумного сердца, то есть забывши всех дедов и жен: ту, первую, себя, вторую, нашего с Асей музыкального деда и Андрюшину исторического, не усадила: меня – за письменный стол, Асю – за геркулес, а Андрюшу – за рояль: «*До*, Андрюша, *до*, а это *ре*, *до* – *ре*...» [7; 25–26]

Ариадна Сергеевна Эфрон:

Любимый в семье, красивый, одаренный, в меру общительный, Андрей, вместе с тем, рос (и вырос) замкнутым и обособленным – на всю жизнь, так до конца не открывшись

ни людям, ни самой жизни и не проявив себя в ней в полную меру своих способностей [1; 149].

Ася **(младшая сестра Анастасия Ивановна Цветаева)**

Валерия Ивановна Цветаева:

Младшая сестра Ася, подвижная, находчивая, ловкая, в детстве с мальчишескими ухватками, была небольшого роста, худенькая, с легкими светлыми волосами, нежным цветом лица, как и Марина, и тоже близорукая. Ася обладала блестящей памятью, быстротой мысли и впоследствии обращавшим на себя внимание даром слова. Характера она была открытого, живого, довольно дерзкого, в детстве надоедавшая всем назойливым, требовательным, ноющим плачем по всякому поводу. Становясь старше, оставалась трудной в быту и трудной самой себе.

20#ти лет напечатала первую книгу «Королевские размышления» и 22#х лет вторую «Дым, дым и дым» [1; 14].

Татьяна Николаевна Астапова:

Настоящим другом Цветаевой была ее младшая сестра Ася, учившаяся в той же гимназии. Меня всегда удивляло, с какой радостью встречает Цветаева сестру и как подолгу они ходят вместе и оживленно беседуют друг с другом. Можно подумать, что они давным-давно не видались. Вот вижу их на площадке второго этажа, откуда три большие двустворчатые двери ведут в зал, в кабинет начальницы и в столовую. Они стоят возле пролета лестницы, возле чугунных перил; если одна говорит, другая слушает внимательно и с улыбкой смотрит на сестру. Ася младше Марины года на два, на три и не похожа на нее – тоненькая, нежная, с гладко причесанной головкой, на высоких каблучках, с изящным ридикюлем в руке. В ней было что-то старомодное, что-то от тургеневских времен [1; 48].

Мария Ивановна Кузнецова:

Поразила меня бледность ее лица, только где-то местами чуть покрытая нежно-розоватой тенью. Я сразу увидела большое сходство с Мариной, но Ася меньше, тоньше, нежнее. У нее добрая, прелестная улыбка полных губ. Ее ярко-желтые, вернее золотые, глаза прямо, доверчиво и ласково глядят в чужие глаза. Голос очень похож на Маринин, но нежнее. Держит она себя просто, доверчиво, любезно, нет и тени Марининой застенчивости и гордости [1; 62].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

В весеннюю свою пору сестры являли определенное сходство – внешности и характера, основное же отличие выразилось в том, что Маринина разносторонность обрела – рано и навсегда – единое и глубокое русло целенаправленного таланта, Асины же дарования и стремления растекались по многим руслам, и духовная жажда ее утолялась из многих источников. В дальнейшем жизненные пути их разошлись [1; 149].

Муж Сергей Яковлевич Эфрон

Марина Ивановна Цветаева. *Из записной книжки 1914 г.:*

Красавец. Громадный рост; стройная, хрупкая фигура; руки со старинной гравюры; длинное, узкое, ярко-бледное лицо, на котором горят и сияют огромные глаза – не то зеленые, не то серые, не то синие, – и зеленые, и серые и синие. Крупный изогнутый рот. Лицо единственное и незабвенное под волной темных, с темно-золотым отливом, пышных, густых волос. Я не сказала о крутом, высоком, ослепительно-белом лбе, в котором сосредоточились весь ум и всё благородство мира, как в глазах – вся грусть.

А этот голос – глубокий, мягкий, нежный, этот голос, сразу покоряющий всех. А смех его – такой веселый, детский, неотразимый! А эти ослепительные зубы меж полоски изогнутых губ. А жесты принца! [11; 74]

Марк Львович Слоним:

Это был высокий, тонкий человек с узким, красивым лицом, медленными движениями и чуть глуховатым голосом.

Несмотря на широкие плечи, отличное, почти атлетическое сложение – всегда держался прямо, чувствовалась в нем военная выправка, – он был подвержен всяческому немощам. Худой, с нездоровым сероватым цветом лица и подозрительным покашливанием, он периодически болел туберкулезом и астмой. В 1925 году по просьбе МИ я устроил его в лечебнице («здравнице») Земгора под Прагой. В 1929 году у него вновь открылся процесс в легких, и ему пришлось провести восемь месяцев в санатории в Савойе, оставив МИ одну с детьми. Он не мог долго работать, скоро уставал, его то и дело одолевала нервная астма. Я всегда видел в нем неудачника, но МИ не только его любила, но верила в его благородство и гордилась, что пражане называли его «совестью евразийства» [1; 339].

Марина Ивановна Цветаева. *Из письма Л. П. Берии. Голицыно, 23 декабря 1939 г.:*

Сергей Яковлевич Эфрон – сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (среди народовольцев «Лиза Дурново») и народовольца Якова Константиновича Эфрона. (В семье хранится его молодая карточка в тюрьме, с казенной печатью: «Яков Константинов Эфрон. Государственный преступник».) О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия», и портрет ее находится в Кропоткинском Музее.

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать – в Петропавловской крепости, старшие дети – Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон – по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра – два побега. Ему грозит смертная казнь и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже, – кончает с собой ее 13-летний сын, которого в школе задразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней «Юманитэ».

В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в московский университет, филологический факультет. Но начинается война и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. – 1920 г.) – непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, *не* известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог, – забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара – у него на глазах – лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. – «В эту минуту я понял, что наше дело – ненародное дело».

– Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных? – Сергей Эфрон это в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился – он из него ушел, весь, целиком – и никогда уже не оглянулся в ту сторону [9; 661–662].

Ариадна Сергеевна Эфрон:

В годы гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказиями», писем почти не было – вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это – кто знает! – судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я., уже перебравшегося в Чехию и поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение – ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан – и невозможен [1; 152].

Николай Артемьевич Еленев:

Путешествуя с Эфроном целый месяц в товарном неотапливаемом вагоне из Константинополя в Прагу, в длинные осенние ночи мне довелось слышать не раз от него о Марине. Природа лишила меня чувства любопытства. Если я почти ничего не знал в то время о внешней судьбе Цветаевой, мне казалось, что я уловил ее духовное существо, каким оно представлялось Эфрону. В отдельных замечаниях, в его голосе, когда он говорил о жене, звучало тихое восхищение. Да, собственно, в этих речах имелась в виду и не жена. Марина, какою ее истолковал Эфрон, – в поношенной шинели, грязной офицерской фуражке, с печально-тревожными глазами в ожидании какой-нибудь беды, – была кристальной чашею мудрости и писательского дарования. В его рассказах не было ни ходульного восторга, ни малейшего признака пошлого бахвальства. Втайне он безоговорочно признавал превосходство Марины над собою, над всеми современными поэтами, над всем ее окружением. Слепая любовь и всякое обожание вызывают настороженность и подозрение. Но Эфрон меньше всего напоминал человека, терзаемого тоской вожеления [1; 263].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма Л. П. Берии. Голицыно, 23 декабря 1939 г.:

Но возвращаюсь к его биографии. После белой армии – голод в Галлиполи и в Константинополе, и, в 1922 г., переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет – кончать историко-филологический факультет. В 1923 г. затевает студенческий журнал «Своими

Путиами» – в отличие от других студентов, ходящих чужими – и основывает студенческий демократический Союз, в отличие от имеющихся монархических. В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.). С этого часа его «полевение» идет неуклонно. Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе Евразийцев и является одним из редакторов журнала «Версты», от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь – уже с 1927 г. Сергея Эфрона зовут «большевиком». Дальше – больше. За Верстами – газета Евразия (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда выступившего в Париже), про которую эмиграция говорит, что это – открытая большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются: правые – левые. Левые, оглавляемые Сергеем Эфроном, скоро перестают быть, слившись с Союзом Возвращения на Родину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.